



ГРАНИЦЫ И МАРКЕРЫ
СОЦИАЛЬНОЙ СТРАТИФИКАЦИИ В РОССИИ
XVII—XX вв.

векторы
исследования



Коллектив авторов

**Границы и маркеры социальной
стратификации России XVII–
XX вв. Векторы исследования**

«Алетейя»

2018

УДК 316.343
ББК ТЗ(2)-28

Коллектив авторов

Границы и маркеры социальной стратификации России XVII–XX вв. Векторы исследования / Коллектив авторов — «Алетейя», 2018

ISBN 978-5-906980-93-9

В монографии приводятся результаты исследования социальной стратификации России XVII–XX вв., предлагаются возможные направления и методы изучения этой сложной и многоаспектной проблемы. Авторы вводят понятие социальных маркеров, которые служат идентификационными признаками социальных статусов индивидов и сообществ. Проявленные через физические объекты – исторические источники, социальные маркеры выступают и как историческая, и как инструментальная категория. Их применение позволяет корректно интерпретировать и обобщать обширный эмпирический материал, учитывать нюансы социальной реальности, минимизируя риски создания отвлеченных социологических схем. Исследование базируется на широком круге специальной литературы и источников. Для всех интересующихся проблемами социальной истории.

УДК 316.343

ББК ТЗ(2)-28

ISBN 978-5-906980-93-9

© Коллектив авторов, 2018

© Алетейя, 2018

Содержание

Введение	6
Раздел I	15
Глава 1	15
1.1. Историческая социология в поисках методологических оснований теории «среднего уровня»	19
1.2. Прочтение истории социума: проблема языка и метода интерпретации	29
Глава 2	35
2.1. Реконструируя историческое прошлое: от социальных структур к сетям и индивидам	35
2.2. Социальные категории «класс» и «сословие» в зарубежной историографии: необходимая условность или адекватный инструмент описания исторической реальности?	41
2.3. Россия и Европа: проблема сопоставления социальных ландшафтов	48
Конец ознакомительного фрагмента.	53

Границы и маркеры социальной стратификации России XVII– XX вв.: векторы исследования

© Издательство «Алетейя», 2018

© Редин Д. А., коллектив авторов, 2018

Введение

Аристотелевское определение «человек – животное социальное» сколь хрестоматийно, столь и справедливо. В самом деле, человек социален, он всегда находится в системе многообразных взаимосвязей с себе подобными. Эти взаимосвязи формируют различные человеческие сообщества, большие и малые, находящиеся в иерархических взаимоотношениях, динамичные и открытые, относительно замкнутые и инертные, обладающие системной целостностью и являющиеся подсистемами в более крупных системах, – тот бесконечный мир, именуемый социальностью. Социальность, или социальная интеграция, – неотъемлемая и базовая черта человеческого бытия. И тогда, когда человек действительно был животным, и позже, когда он стал «животным политическим» (если обыгрывать другой вариант перевода аристотелевского изречения). Различные типы социальной интеграции, выстроенные по вертикали (иерархизированные) и по горизонтали, от кровнородственных, основанных на биологической гендерно-возрастной дифференциации, до сословно-классовых, усложненных и обремененных различными формальными структурами со всеми, не поддающимися учету промежуточными и переходными состояниями, лежат в основе человеческого существования. Они, наряду с другими глобальными явлениями (природно-климатическая среда, географическое пространство и т. д), формируют и определяют все виды человеческой деятельности. Взаимообусловленность этих глобальных явлений и их определяющее значение для понимания картины мира привело немецкого географа Э. Нефа к выработке философской категории социосферы – системной совокупности освоенной человеком природной среды и самого человечества как части географической оболочки Земли¹. С этой точки зрения экономические процессы, административные структуры, творческая деятельность, религиозность, морально-этические системы оказываются производными социального. В этом смысле изучение социальной организации в пространственно-временном контексте является фундаментальной проблемой гуманитарного знания и одной из фундаментальных проблем науки в целом.

Социальная организация человека – и с точки зрения глобальных процессов, и в конкретно-исторических локациях – давно находится в поле зрения гуманитарных и социально-политических наук. Тем не менее интерес к изучению социального не иссякает, варьирует, меняет векторы, масштабы исследовательской оптики, порождает различные, порой взаимоисключающие теории и обнаруживает ряд проблем, решение которых иногда кажется невозможным.

Сложившаяся в рамках позитивистской методологии программа исследования социальных структур прошлого предполагает применение в качестве общей познавательной матрицы априорно принимаемой схемы структурирования социума (например, «классовый подход», концепция перехода от сословных структур к классовым, «аграрное» – «индустриальное» – «постиндустриальное» общество, «традиционное» – «современное» общество). Применение данных моделей в качестве базы для агрегирования эмпирического материала, как правило, влечет за собой конфликт исторических фактов и социологической схемы. В практике исторических исследований несоответствие эвристического потенциала схем и фактического материала воспринимается как кризис методологии, который разрешается разработкой новой либо рецепцией ранее кем-либо созданной схемы (так, например, на смену марксистской теории пришла теория модернизации), что, однако, не снимает перспективы возникновения противоречия выбранной модели и фактического материала. В результате на настоящий момент социальная история располагает внушительным набором познавательных инструментов, являющихся, по сути, конкурирующими, вследствие чего возникает проблема валидности данных

¹ Neef E. Die theoretischen Grundlagen der Landschaftslehre. Gotha, 1967.

эвристических схем изучаемым объектам. Логическим следствием проблемы адекватности схемы и эмпирического материала является проблема многозначности и «образности» концептов, которые используются для обозначения объектов в практике историописания: «класс», «сословие», «социальный слой», «культура», «цивилизация».

Понимание социальной организации изучаемого общества затруднено, таким образом, отмеченным диссонансом теории и эмпирики. Но это только одна из проблем. При ретроспективном изучении социального возникает эффект удвоения диссонанса, который можно, с долей условности, назвать «конфликтом теорий» или феноменом «двойного искажения». Ведь в том или ином ретроспективном обществе существовали собственные взгляды на его организацию, порой находившиеся на уровне мировоззренческих обобщений, в том числе теоретических. У современников были свои представления о самих себе; представления разноуровневые, разнонаправленные, агрегированные и дискретные, доходящие до нас с той или иной степенью полноты (в связи с проблемой сохранности и качества исторических источников) и не всегда доступные сегодняшнему пониманию в силу семантической эволюции языка. Картина социальной организации, созданная, например, с помощью законодательства или теоретического трактата в XVII или XVIII столетии и сама по себе – как феномен дискурсивный – преломленно отражавшая современную ей социальную реальность, оказывается вторично преломленной через призму позднейшего научного нарратива. Создавая собственные схемы устройства изучаемого общества с позиций «научного знания» (следуя, по большому счету, в русле наиболее влиятельных актуальных теоретических школ), исследователь переосмысливает первичные схемы, вступает в конфликт с дискурсом прошлой эпохи. Что зачастую мы имеем в результате? Набор объяснительных моделей, представляющих безусловный интерес с точки зрения истории развития научной мысли, но мало приближающих нас к пониманию социальной реальности прошлого.

Современное состояние науки тем не менее дает надежду на преодоление указанных проблем. Во-первых, как представляется, сам методологический кризис (выраженный, в частности, в недоверии к историческому метанарративу) есть в определенном смысле благо; его результат – отказ от методологического «монизма», утрата веры в возможность создания некой универсальной теории, способной объяснить если не все, то многое. Во-вторых, как следствие, резко возросший интерес к историческому источнику при одновременном переосмыслении взглядов на его природу, познавательный потенциал и качественное расширение арсенала источниковедческих методик². В-третьих, накопление исследовательских практик микроисторических и близких к ним исследований, демонстрирующих «процесс реструктуризации всего социогуманитарного знания»³ и позволяющих уповать на концептуальные прорывы и переход от «аналоговых» к «цифровым» технологиям в области гуманитаристики. В совокупности это формирует новую исследовательскую повестку и новый алгоритм решения старых задач глобального характера, к каковым, несомненно, относится и изучение социальной организации.

Исходя из сказанного выстраивалась исследовательская программа, результатом которой стала настоящая книга. Основу наших изысканий составили индуктивные стратегии научного

² См., например: *Муравьев В. А.* Вспомогательные исторические дисциплины в кругу наук о человеке и обществе // *Источниковедение и историография в мире гуманитарного знания: докл. и тез. XIV науч. конф.*, Москва, 18–19 апр. 2002 г. М., 2002. С. 60–66; *Румянцев М. Ф.* Историческое сознание и историческая наука в состоянии постмодерна // Там же. С. 41–51; *Маловичко С. И.* Историописание: научно ориентированное vs социально ориентированное // *Историография источниковедения и вспомогательных исторических дисциплин: материалы XXII междунар. науч. конф.*, Москва, 28–30 янв. 2010 г. М., 2010. С. 21–28; и др. Несомненно, фундаментальным явлением в этом направлении можно считать разработку новых подходов к источниковедению в русле когнитивной истории О. М. Медушевской и ее учеников и последователей: *Медушевская О. М.* Теория и методология когнитивной истории. М., 2008. Также см.: *Казаков Р. Б., Румянцев М. Ф.* Научное наследие Ольги Михайловны Медушевской // *Когнитивная история: концепция – методы – исследовательские практики* / отв. ред. М. Ф. Румянцева, Р. Б. Казаков. М., 2011. С. 9–36.

³ *Каменский А. Б.* Повседневность русских городских обывателей. Исторические анекдоты из провинциальной жизни XVIII в. М., 2007. С. 12.

поиска, движение «от источника». При реализации этих стратегий мы ставили одной из главных своих задач предельно бережное, контекстное раскрытие смысла, содержащегося в изучаемых текстах, и придерживались при этом исследовательских принципов, разработанных в рамках «истории понятий». Помимо прочего, к этому нас обязывало давление историографической традиции изучения социальной истории России Нового – Новейшего времени, накопившей множество противоречивых, но устойчивых «стандартов» описания российского социума в терминологии пресловутых «сословной» и «классовой» парадигм, нередко подгонявших изучаемые реалии под «кабинетные» представления. Эти «стандарты» следовало преодолеть, ввиду исчерпанности их объяснительного потенциала, для чего, помимо упомянутых методик «истории понятий» и принципов когнитивного источниковедения, потребовалось определить для себя несколько рабочих подходов, в направлении которых реализовывалось исследование.

Прежде всего, мы исходили из представления о том, что любое общество, в том числе и то, которое стало объектом нашего изучения, является структурированным пространством, описываемым в социологии через два понятия: «социальная структура» и «социальная стратификация». В современной социологии не существует единства мнений по поводу определения этих понятий. С большей или меньшей согласованностью под социальной структурой понимается вся совокупность социальных групп, слоев, общностей, институтов, отличающаяся относительным постоянством и внутренне связанная системой взаимоотношений. Часто социальная структура характеризуется как относительно постоянная *модель*⁴ социальных *классификаций* в определенном обществе, группе или социальной организации⁵. В то же время социальная стратификация чаще всего понимается как иерархически организованные структуры социального неравенства, существующие в любом обществе, или *как система признаков и критериев социального расслоения в обществе, иерархически выстроенная по одному или нескольким стратификационным критериям, или статусным характеристикам (позициям)*, к каковым относят экономические, политические, правовые, гендерные, возрастные, этнические, конфессиональные, профессиональные и прочие критерии. В любом случае в основе этой иерархии – возможности доступа к разнообразным социальным ресурсам, выстраивание отношений господства и подчинения, независимо от исторических периодов и культур, а также множественность способов поддержания неравенства. Популярное сравнение социальной стратификации со слоистым структурированием геологических пластов⁶ позволяет сделать вывод о естественном, объективно предзаданном ее характере, а многообразии генетически разных, но не взаимоисключающих переменных – стратификационных критериев – как будто подтверждает этот вывод.

Развивая эту мысль, можно констатировать, что социальная структура и социальная стратификация есть взаимосвязанные, но не тождественные понятия. С известной долей упрощения считаем допустимым охарактеризовать социальную структуру как понятие, в большей степени отражающее *представления* об устройстве общества (модель социальных классификаций), которые формировались с разной степенью полноты у различных его (общества) представителей. Разумеется, эти представления не являлись чисто умозрительными, а возникали в том числе из наблюдений за социальной реальностью. Представления о структуре общества, присущие общественно-политическим элитам, будучи закрепленными законом или обычаем, оказывали влияние на конструирование социальной реальности и сами становились ее частью.

Социальная стратификация – понятие, в большей мере соответствующее реальным отношениям, той общественной иерархии, которая складывалась на основе подвижного набора

⁴ Здесь и далее по всему тексту книги выделение слов и выражений *курсивом* (кроме особо оговоренных случаев) принадлежит авторам.

⁵ Джери Д., Джери Дж. Большой толковый социологический словарь. М., 2001. Т. 2. С. 242–243.

⁶ Там же. С. 240.

стратификационных критериев в конкретной пространственно-временной локации, и в большей или меньшей степени соответствующее социальной структуре. В основе социальной структуры – социальные классификации; в основе социальной стратификации – система стратификационных критериев, задающих социальную иерархию.

Общим местом (или, если угодно, консенсусным пониманием) в социологии является представление о статусных характеристиках, или статусных позициях, совокупности которых (статусные наборы) определяют общее положение индивидуума или группы в системе социальной стратификации общества. По способу приобретения статусных позиций их принято делить на аскриптивные (предписанные) и дескриптивные (достижимые); преобладание первых позволяет говорить об аскриптивных обществах (аскриптивной социальной стратификации), крайним проявлением которых обычно называют оформившиеся кастовые системы; преобладание вторых представляется характерной чертой открытых дескриптивных обществ современного типа. Учитывая то обстоятельство, что на практике редко можно наблюдать оба типа в «лабораторной» чистоте, для нас остается важным постулирование самого факта наличия социальных статусов как *структурообразующих элементов социальной стратификации*. С одной стороны, социальные статусы в определенной мере стабилизируют систему общественных связей и позволяют говорить о социальной структуре общества как о более или менее постоянной модели общественных групп и взаимосвязей. С другой стороны, изменчивость статусов (статусных наборов), которая может проявляться в течение жизненного цикла одного индивидуума или группы, придает известную гибкость и подвижность общественной организации и в определенных условиях служит адаптивным механизмом для элементов социальной структуры.

Статусные наборы (стратификационные критерии) также могут быть охарактеризованы как важнейшие компоненты, или составляющие, социальной идентичности, которая сама является результатом процесса социальной идентификации/самоидентификации индивидуумов или общественных групп. Как известно, социальная идентификация/самоидентификация в самом обобщенном виде – позиционирование индивидуума или группы по отношению друг к другу, внутри групп, по отношению к иногруппам (аутгруппам), в больших социальных системах, в вертикальных и горизонтальных срезах и т. д. – основана на сложном манипулировании стратификационными критериями. Вариативность этих манипуляций не позволяет выстроить универсальную генерализирующую теорию, это задача со слишком большим количеством переменных – не отсюда ли такое большое количество объяснительных моделей в психологической и социологической науках, претендующих на универсальность, конкурирующих, подкрепляющих, развивающих друг друга, но бессильных свести движение социальной материи к законам некой «социальной физики»⁷?

Но есть иное. Статусные наборы, или статусы, имеют свойство *проявляться* в динамике социальных транзакций, или, иными словами, обладают собственными маркерами. Обладатели социального статуса – люди (сами по себе или объединенные по различным основаниям в группы/общности) имеют, таким образом, возможность идентифицировать друг друга по набору социальных маркеров (социальных кодов), предъявляя свои притязания, отстаивая свои позиции, осуществляя социальную мобильность, т. е. выстраивая свои жизненные стратегии и влияя на изменения социальной реальности.

⁷ Исследования феномена социальной идентичности развивались в рамках различных течений в психологии и социологии: и в русле бихевиористской традиции, и в духе символического интеракционизма, и в традициях различных национальных школ социальной психологии, в соответствии с деятельностным подходом, теориями социальной идентичности и самокатегоризации, и многими другими направлениями. Обзоры этих и других исследований см., например, в не новой, но не потерявшей, на наш взгляд, своей полезности работе (по сути, сборнике очерков): Беккер Г., Босков А. Современная социологическая теория в ее преемственности и изменении. М., 1961, а также: Микляева А. В., Румянцева П. В. Социальная идентичность личности: содержание, структура, механизмы формирования. СПб., 2008 (особенно 1-я глава, с. 8–47, где интересующие нас сюжеты изложены компактно, но емко).

Маркеры социальных статусов (или маркеры социальной стратификации) по формам их проявлений можно сгруппировать в три категории: вербализованные, невербализованные и смешанные.

К первой мы относим маркеры, фиксируемые в словах и описаниях, с помощью которых индивидуумы и группы характеризуют себя и свои взаимоотношения и с помощью которых (в разных комбинациях) их определяют (идентифицируют) извне. Вербализованными маркерами в той или иной степени наполнены документы нормативно-законодательного характера, судебные материалы, частно-правовые акты, разнообразные прошения, доношения, челобитные и рапорты, нравоучительные сочинения и проповеди, агиографические тексты и хроники, публицистика, мемуаристика и беллетристика – практически весь безбрежный массив письменного наследия изучаемой пространственно-временной локации.

Маркеры второй категории предстают в вещах. Одежда, еда, типы жилищ, их интерьеры и экстерьеры, предметы быта и обихода, косметика и прически, оружие и орудия труда, транспортные средства – весь предметный мир, создаваемый человеком и используемый человеком, имеет социально-маркирующую окраску, порой настолько выраженную, что одно наличие или отсутствие тех или иных вещей может дать указание на место индивидуума в общественной иерархии или проявить характер его социальных претензий.

Наконец, к маркерам третьей категории можно отнести действия и представления: этикетные нормы, морально-этические взгляды, эстетические предпочтения, представления о гигиене, воспитании и образовании и сами образовательные и воспитательные практики, моду. Маркеры такого рода могут предстать в письменных текстах (в описаниях церемоний и праздников, инструкциях и наставлениях по их организации, в чертежах, периодической печати, рекламе, прейскурантах, учебных планах, в уже упоминавшихся морализаторских сочинениях и мемуарах, путевых заметках и пр.); в предметах; визуализироваться через памятники изобразительного искусства, фотографию и кинематограф.

Все эти вкратце перечисленные и в принципе общеизвестные вещи дают, на наш взгляд, один из возможных путей изучения социального в русле заявленного нами движения «от источника», с одной стороны, не пренебрегая эмпирическими «мелочами», из которых, собственно, и состоит жизнь, а с другой – позволяя производить некоторую агрегацию полученных данных. Дело в том, что, будучи проявленными *через физический объект – исторический источник*, социальные маркеры поддаются описанию, анализу и концептуализации. Соответственно, появляется возможность верификации наших представлений о *границах* социальных групп и *характеристиках* социальной стратификации изучаемого общества.

* * *

Высказанные выше соображения и имеющиеся у авторов исследовательские заделы предопределили общий замысел и структуру книги. Прежде всего, следует оговориться, что читатель не найдет в ней некой социальной истории России «от Гостомысла до Тимашева» (пользуясь известной фразой А. К. Толстого), т. е. очередного метарассказа. Во-первых, потому, что мы не считали себя готовыми создать таковой в относительно сжатые сроки, определяемые рамками исследовательской программы. Во-вторых, потому, что не очень верим в продуктивность самого принципа метарассказа, во всяком случае, в сегодняшней историографической ситуации. Если проводить аналогию с археологическими практиками, мы отказались от метода сплошного снятия горизонтов культурного слоя по всей площади изучаемого объекта до «материка», а предпочли метод шурфования – метод, по большому счету, разведочный, поскольку и задуманная нами работа – разведочная. Ставя своей целью исследовать границы и маркеры разнообразных и разнородных общественных групп, составлявших сложную и сложную систему социальной стратификации России в динамике ее четырехвекового развития,

мы отдавали себе отчет в том, что вторгаемся в безбрежное пространство, описание и осмысление которого в целом есть перспективная, но пока не достижимая сверхзадача, возможно – труд еще не одного поколения историков. «Закладывая шурфы» (и ограничивая себя рамками регионов России, заселенных по преимуществу русскими, оставляя в стороне так называемые «национальные окраины» – особые миры и структуры, интеграция которых в единое социальное поле – тема, требующая особых изысканий), мы лишь определяли *общие векторы исследования*, которые, на наш взгляд, могут быть применены в дальнейшей, более широкой по масштабам научной работе.

Основной текст монографии составляют три раздела. Первый из них назван «Осмысление социального»; осмысление это научное, сегодняшнее, изложенное как в ряде социологических трудов, так и в работах историков, занимающихся проблемами социальной истории и предлагающих свои трактовки и социальным процессам в целом, и тем процессам, которые происходили в России Нового – Новейшего времени. При определенном сходстве с историографическим, этот раздел не является таковым в классическом смысле слова. Прежде всего, он далек от исчерпанности, к каковой всегда стремится полноценное историографическое сочинение. Социология, социальная история, антропология и психология (в направлениях, касающихся проблем социального) накопили на сегодняшний день такой объем исследований, что более или менее системный их перечень мог бы стать основанием для многолетней работы. Во-вторых, в отличие от историографического, этот раздел не предполагал контекстного и междисциплинарного анализа литературы о социальном в связи с развитием гуманитарного научного знания и эволюцией общего культурного пространства, хотя бы и в масштабах последнего столетия. Цель этого раздела была иной. Он должен был дать для нас, авторов, и, разумеется, для читателей некоторую точку отсчета, задать систему координат современного состояния проблемы в научном мире; выявить круг работ теоретического характера, которые (во всяком случае, с точки зрения авторов) отвечают целям и задачам конкретно-исторических исследований социального, находятся в минимальном противоречии отмеченного выше диссонанса теории и эмпирики, схемы и факта. Он должен был нащупать те болевые точки и обнаружить те тупиковые ходы, которые присущи сегодняшней исторической науке о социальном (проявляющиеся в том числе и на российском материале). Наконец, он должен был продемонстрировать те тенденции, те исследовательские векторы, которые существуют в новейших трудах по социальной истории и которые намечают варианты выхода из упомянутых исследовательских тупиков. Отсюда – избирательный характер литературы, попавшей в поле зрения авторов, возможная неравномерность ее анализа и интерпретации, субъективность авторских оценок и другие «грехи», в которых мы готовы загодя раскаяться. В любом случае, при написании данного раздела мы меньше всего руководствовались стремлением продемонстрировать собственную начитанность и эрудицию, но намеревались определить тот «сухой остаток», который остается после отжима синтаксических приемов, полемических выпадов и повторов общих мест, присущих любому научному нарративу, чтобы, оттолкнувшись от этого твердого участка, отправиться дальше.

Второй раздел – «Конструирование социального» посвящен изучению того, как проблемы общественной организации, социального устройства воспринимались правящими элитами России на разных этапах ее существования в XVII–XX вв. Под правящими элитами мы в большинстве случаев понимали самые узкие и верхние ее слои – властные группы, обладавшие возможностью принимать решения и организовывать своих подданных в удобные и понятные для себя структуры. Можно сказать, что под этой элитарной верхушкой мы понимаем законодателя, старательно избегая термина «государство», поскольку внешняя категориальная ясность последнего всегда размывается при его использовании в конкретно-историческом исследовании, теряя цельность или приобретая метафорическое звучание. Исключение составляет глава, посвященная XVIII в. В ней мы позволили себе проанализировать взгляды

правлящей элиты на социальное устройство современного ей общества в более широком смысле – ознакомить читателя с представлениями, бытовавшими среди высшей знати и высшего духовенства империи. Это было сделано, во-первых, потому, что в век Просвещения у этих слоев появилась возможность и желание судить о подобных вещах, а во-вторых, потому, что воззрения такого рода авторов так или иначе оказывали влияние на правительственные решения (ведь многие из них были либо вхожи в придворные круги, либо привлекались властью к обсуждению законодательных проектов). Можно было бы назвать этот раздел «Властный дискурс о социальном XVII–XX вв.», в противовес «научному дискурсу», осмыслению которого посвящен первый раздел. Но рассуждения или представления власти об общественной организации – всегда нечто большее, чем рассуждения и представления. Обладая необходимыми ресурсами, власть склонна придавать своим рассуждениям нормативный характер. Фиксируя и (или) формируя социальные наименования, выстраивая социальные классификации, законодатель *конструирует социальное пространство*, создает свои модели социальных структур, руководствуясь при этом вполне прагматическими и конкретными целями (даже если им сопутствуют или их обосновывают какие-то мировоззренческие принципы или теоретические представления). Любой, даже самой «романтической» власти для реализации собственных функций необходима четко действующая система фиска, администрации, вооруженных сил и другие мобилизующие инструменты, существование которых весьма проблематично в условиях плохо структурированного, дезорганизованного, дискретного и в конечном итоге – неуправляемого общества. Насколько создаваемые таким образом социальные структуры учитывают социальную реальность, насколько они совпадают со сложившейся социальной стратификацией, насколько они учитываются подданными – этими ежедневными (индивидуальными и коллективными) творцами социальных практик, настолько устойчивым оказывается общество в целом, настолько уже будет зазор между ним и властью. Наконец, этот раздел призван решить еще одну, крайне важную, задачу: понять, в каких категориях современники, облеченные властью и умевшие строить обобщения, оценивали социальное устройство общества; какой смысл они вкладывали в термины, маркировавшие социальность; как эволюционировала семантика этих терминов; как создавались социальные классификации. Значение всего этого, помимо прочего, заключается в том, что мы получаем возможность понять, насколько ретроспективные дискурсы о социальном коррелируют с современными «кабинетными» представлениями.

Третий раздел – «Модели социального» призван, спустившись с высот социальной и государственной иерархии, помочь разглядеть упомянутые социальные практики, которые, с разной степенью силы и успеха, противодействовали, содействовали императивам власти, приспособлялись к ним и проявлялись на протяжении изучаемого периода в действиях представителей различных социальных страт. Этот раздел на первый взгляд представляет собой привычный набор кейсов, чей ряд может быть длиннее или короче, а состав богаче или беднее. Конечно, именно этот, предложенный в разделе вариант более всего обуславливался имеющимся авторским заданием и явился результатом тех конкретно-исторических исследований, того архивного поиска, которыми мы были заняты в процессе подготовки книги. В другом авторском коллективе этот набор был бы иным. Но мы были бы нечестны перед собой, если бы составили раздел просто из того, что было «под рукой». Главы третьего раздела – не иллюстрации, призванные оттенить или визуализировать основной текст. Они продолжают замысел предыдущего раздела и в первую очередь призваны демонстрировать процессы конструирования социального с других ракурсов и уровней. Выбранные нами социальные срезы в совокупности показывают поведенческие модели различных социальных групп в динамике их бытия; динамика эта вариативна и многогранна. Она не укладывается в простую схему: «диктат власти – сопротивление общества». Она характеризует сложные процессы адаптации, сотрудничества, оппозиции, различные схемы социальной мобильности и самоидентификации, ситуатив-

ную актуализацию разных статусных позиций, характерные для России исследуемого периода. В поле нашего зрения попадают и элитные группы разного уровня (служилые люди XVII–XVIII вв. и региональная партийная номенклатура советской эпохи), и маргинальные и переходные страты (холопы и вечноотданные), и замкнутые, относительно немногочисленные и имеющие различно выраженную внутреннюю иерархию сообщества (иностранцы технические специалисты XVIII–XIX вв., корпорация юристов XIX в., работники атомной отрасли второй половины XX в.), и горожане рубежа XIX–XX вв., чьи социальные различия подверглись нивелированию под влиянием интенсивных процессов формирующейся массовой культуры общества потребления. Социальные идентификация и самоидентификация перечисленных субъектов не всегда совпадали; групповой статус каждого из них определялся разными сочетаниями статусных позиций: профессиональных, должностных, образовательных, экономических, этнических и гендерных. Но едва ли не на всем протяжении исследуемого периода константой, неизбежно остававшейся в наборе главных статусов, определявших иерархическое место группы, оказывались юридическое состояние (закрепленность прав) и доступ к материальным ресурсам. Было ли это следствием реального положения дел или явилось результатом оптики нашего исследования (преимущественная сфокусированность на относительно крупных социальных стратах и вынесение за скобки семьи, малых общин и иноэтничных сообществ – за исключением иностранных технических специалистов), покажет будущее. Но в любом случае нам хотелось бы надеяться, что материалы, сосредоточенные в третьем разделе, действительно дадут «модельный» эффект, подобно тому, как результаты опытов над мушкой-дрозофилой легли в основу последующих изысканий в области генетики высших организмов.

* * *

Эта книга – результат реализации одноименного проекта «Границы и маркеры социальной стратификации в России XVII–XX вв.», над которым авторы при финансовой поддержке Российского научного фонда работали в 2014–2016 гг. Результат, несомненно, промежуточный (слишком сложна и многогранна исследовательская проблема), но, как хочется надеяться, не бесполезный. В течение трех лет непрерывных дискуссий и выработки общей позиции мы чувствовали заинтересованность в нашей работе и поддержку со стороны друзей и коллег, занимающихся сходной с нашей проблематикой. Чрезвычайно ценным для нас стало их участие в двух организованных нами обсуждениях: научно-практическом семинаре «Механизмы и практики социального конструирования в России XVII–XX вв.» (Екатеринбург, октябрь 2015 г.) и Всероссийской научной конференции «Социальная стратификация России XVI–XX вв. в контексте европейской истории» (Екатеринбург, ноябрь 2016 г.). Особую признательность мы хотим выразить Е. В. Анисимову, Л. И. Бородкину, А. Б. Каменскому, С. А. Красильникову, А. А. Селину, Е. Б. Смилянкой, И. И. Федюкину – профессиональное общение с ними, обсуждение теоретических и прикладных вопросов, связанных с нашей темой, не только обогащало и корректировало наши собственные представления, но и поощряло к работе, внушая оптимизм по поводу того, что мы ведем поиск в верном направлении. Наша искренняя благодарность рецензентам: С. Диксону, О. Е. Кошелевой, И. В. Побережникову. Испытывая бесконечную неловкость за то, что мы обременили их чтением почти девятисотстраничной рукописи, мы воздаем должное самоотверженности наших рецензентов. Их взыскательная и при этом доброжелательная критика была нами принята. К сожалению, далеко не все из высказанных и, несомненно, справедливых замечаний нам удалось учесть при исправлении текста: это повлекло бы за собой его переформатирование. Тем не менее мы помним о них и готовы использовать в дальнейшей работе.

Наконец, мы считаем приятным долгом поблагодарить директора Института истории и археологии УрО РАН Е. Т. Артемова и первого проректора Уральского федерального универ-

ситета Д. В. Бугрова за неизменную помощь в подготовке и проведении всех наших научных мероприятий, связанных с реализацией проекта.

* * *

Авторство в коллективной монографии распределилось следующим образом: В. А. Аракчеев (разд. III, гл. 1, 2), Е. В. Бородина (разд. III, гл. 1), К. Д. Бугров (разд. II, гл. 2, 4), С. В. Воробьев (разд. III, гл. 7), О. К. Ермакова (разд. I, гл. 2; разд. III, гл. 4), М. А. Киселев (разд. II, гл. 1), Н. В. Мельникова (разд. I, гл. 2; разд. III, гл. 8), Д. А. Редин (введение; разд. I, гл. 1, 2; разд. III, гл. 3; заключение); Д. О. Серов (разд. III, гл. 5), А. В. Сушков (разд. III, гл. 7), Д. В. Тимофеев (разд. I, гл. 1), Г. Н. Шумкин (разд. II, гл. 3), О. Н. Яхно (разд. III, гл. 6). Общая редакция Д. А. Редина.

Раздел I

Осмысление социального

Название предметов вначале всегда дается по сходству, молва же, перенося их другим людям, создает вследствие неведения истинного смысла другие, неправильные представления. И в дальнейшем время становится могучим творцом таких сказаний, а свидетелями тех событий, которые никогда не происходили, берет себе поэтов, в силу, конечно, права свободного творчества в их искусстве.

Прокопий Кесарийский. Война с готами

Глава 1

Адаптация социологических моделей в исторических исследованиях: «исторический поворот» в социологии

В современной отечественной и зарубежной историографии нет четкого ответа на вопрос о том, что такое «социальная история». О приблизительных границах ее проблемного поля можно составить представление, например, по рубрикации секций на проходящей каждые два года Общеευропейской конференции по социальной истории. На одной из них, в 2012 г., самостоятельными были признаны 27 направлений: труд (рабочая история); женщины и гендер; политика, гражданство и нации; этничность и миграции; культура; семья и демография; экономика; материальная и потребительская культура; социальное неравенство; здоровье и окружающая среда; социальная история криминальности («Criminal Justice»); образование и детство; элиты; сельская социальная история («Rural»); устная история; мировая история; религия; теория и историография; пространственная и цифровая история («Spatial and digital history»); прежде эта секция называлась «Historical GIS/History and Computing»); технология; городская социальная история («Urban»); сексуальность; Средние века; Африка; античность; Азия; Латинская Америка⁸.

Впрочем, такая ситуация сложилась не сегодня. Так, например, еще в 1969 г. немецкий историк Ханс Розенберг констатировал: «Так называемая социальная история стала для многих расплывчатым собирательным понятием всего, что в исторической науке считается... нужным и прогрессивным»⁹.

Очевидно, что такой всеохватывающий масштаб не только не позволяет четко определить границы социальной истории, но и чреват утратой предмета исследования. Расширение социальной истории до истории человека и его деятельности во всех сферах жизни привело к положению, когда содержательно «социальная история» практически совпала с предметным полем исторической науки в целом. П. Ю. Уваров, рассуждая на этот счет, создал яркую метафору, уподобив классическую социальную историю королю Лиру, «все раздавшему неблагодарным дочерям»¹⁰.

⁸ См.: <http://www.icshes.ru/elektronnyj-nauchnyj-zhurnal-sotsialnaya-istoriya/o-sotsialnoj-istorii>

⁹ Rosenberg H. Deutsche Agrargeschichte in alter und neuer Sicht // Rosenberg H. Probleme der deutschen Sozialgeschichte. Frankfurt am Main, 1969. S. 147. Цит. по: Зидер Р. Что такое социальная история? Разрывы и преемственность в освоении «социального» // THESIS. 1993. Вып. 1. С. 163.

¹⁰ Уваров П. Ю. Фундаменталистские заметки о социальной истории // Между «ежами» и «лисами»: Заметки об историках. М., 2015. С. 264.

Но, в сущности, произошедшее с социальной историей есть лишь частный случай эволюции всей исторической науки за последние несколько десятилетий; результат того движения от расширения «территории историка», восходящего к началу прошлого столетия, до пресловутой полидисциплинарности Новейшего времени; борьбы с «историоризирующей историей», «эрудизмом», борьбы за преодоление «корпоративной» замкнутости и ограниченности историков; результат всех тех «антропологических», «лингвистических», «культурологических» и прочих «поворотов», сформировавших «новую историческую науку» сегодняшнего дня.

Отличительная особенность, определяющая достаточно размытое понятие «новой исторической науки», отмежевывающая ее от традиционной – событийной или институциональной – исторической науки, сводится в первую очередь к определению нового проблемного поля: исследование культуры, а не структуры, отношений, а не форм (насколько это, конечно, делимо), динамики, а не статики. Новое проблемное поле задает иные, по сравнению с прежними, цели и методы исследования. Среди всевозможных практик, применяемых в «новой исторической науке», значительное, если не доминирующее, место занимают методы микроанализа, как бы они ни назывались в соответствии с различными национальными историографическими особенностями. Появившись как результат «недоверия в отношении метарассказов»¹¹, как реакция «на истощение эвристического потенциала макроисторической версии социальной истории»¹², микроисторические штудии стали быстро завоевывать популярность, главным образом потому, что в результате их применения на свет появился целый ряд сочинений, которые продемонстрировали продуктивность избранного подхода, способность дать на его основе ответы на те вопросы, которые оставались неразрешимыми или вовсе не обнаруживались в рамках концептуализации исторического процесса на макроуровне. Работы, выполненные с применением микроанализа, декларировали отказ от истории-синтеза, а сам микроанализ, по словам Эдоардо Гренди, вписался «в более широкий процесс развития европейской историографии, результатом которого стало так называемое раздробление истории, возникновение “истории в осколках”»¹³. При этом микроистория как направление не формировала строгой и стройной доктрины, объединяя своих последователей скорее объектом, масштабом и целями, нежели собственной системой исторических понятий и соответствующих логических механизмов. «Вот почему, – как писал уже цитированный Э. Гренди, – так трудно обнаружить какие бы то ни было “основополагающие тексты” по микроистории и теоретического, и конкретно-исторического характера»¹⁴. Такое положение дел привело к мысли о невозможности самой микроистории как альтернативы макроистории. «Микроистория, – по мнению одного из наиболее ярких и парадоксальных ее критиков Н. Е. Копосова, – фактически возможна лишь постольку, поскольку она использует макроисторические понятия и, следовательно, имплицитно отсылает к макроисторической проблематике, иными словами – поскольку она является одной из исследовательских техник макроистории»¹⁵. Тем не менее многие историки оказались не готовы подписаться под столь суровым приговором. Просто сам факт возникновения микроистории напомнил очевидную, казалось бы, истину о невозможности осознания глобального без учета того, что оно (глобальное) всегда реализуется в индивидуальном.

¹¹ Румянцева М. Ф. Историческое сознание и историческая наука в ситуации постмодерна // Источниковедение и историография в мире гуманитарного знания. М., 2002. С. 41–51.

¹² Репина Л. П. Новая локальная история // Горизонты локальной истории Восточной Европы в XIX – XX веках. Челябинск, 2003. С. 10.

¹³ Гренди Э. Еще раз о микроистории // Казус: Индивидуальное и уникальное в истории / под ред. Ю. Л. Бессмертного, М. А. Бойцова. За 1996 год. М., 1997. С. 291.

¹⁴ Гренди Э. Указ. соч. С. 292.

¹⁵ Копосов Н. Е. О невозможности микроистории // Казус: Индивидуальное и уникальное в истории / под ред. Ю. Л. Бессмертного, М. А. Бойцова. М., 2000. Вып. 3. С. 33.

Понимая ограниченность возможностей микроанализа и те опасности, которые заложены в концепте «истории в осколках», историки стали искать возможность примирения микро- и макроподходов: в конце концов и макроистория, как показал опыт развития исторической науки, оказалась в состоянии методологического кризиса, а значит, не обладала объяснительным всемогуществом и имела свои ограничения. Среди серьезных историков, реализовавших микроисторические практики, никогда не было тех, кто в принципе отрицал необходимость синтеза или провозглашал отказ от макроисторических понятий как таковых. Напротив, «уход на микроуровень в рамках антропологической версии социальной истории изначально подразумевал последующее возвращение к генерализации на новых основаниях, хотя и с полным осознанием тех труднопреодолимых препятствий, которые встретятся на этом “обратном пути”»¹⁶. Таким образом, формирование микроанализа как направления исторических исследований изначально задавало проблему поиска методолого-методического компромисса, одновременно побуждая к обновлению арсенала макроисторических практик. Осмысление проблемы методологического синтеза, интеграции микро- и макроподходов, как представляется, нашло наиболее емкое и лаконичное объяснение в формулировках, предложенных Ю. Л. Бессмертным. Отталкиваясь от открытого Нильсом Бором метода сочетания некоторых форм получения информации в квантовой механике, названного им «принципом дополнительности», историк сформулировал общие принципы осмысления прошлого посредством параллельного использования разных по своей сути способов: исследования больших структур и исследования микромира (как индивидуализированного воплощения стереотипов и уникальных поведенческих феноменов). Этот принцип дополнительности, примененный к изучению социальной материи, Ю. Л. Бессмертный образно сравнил с бинокулярным восприятием мира зрительным центром человеческого мозга¹⁷.

Думается, что с некоторых пор подобная «бинокулярность» исторического исследования не остается лишь красивой метафорой, а с той или иной степенью успеха претворяется в жизнь. При всей нынешней дискретности профессионального сообщества и методологической полифонии, представляющейся пессимистам какофонией, а оптимистам – одой радости свободному творчеству, мы наблюдаем появление значительного количества авторов, благополучно реализующих этот принцип гармонизации исследовательских практик, и еще большее количество к таковому стремящихся. В этом смысле надежда П. Ю. Уварова на то, что дочери все-таки вернут старику Лиру – социальной истории – часть имущества, похоже, оправдывается, а «сюжеты социальной истории и даже “большие нарративы” вновь возвращаются», обогащенные новыми смыслами и новыми методами¹⁸.

Примечательно в этом отношении то, что в последнее время мы наблюдаем не только эволюцию исторического знания, его обогащение методами и подходами, присущими другим дисциплинам социально-гуманитарного круга, но и встречный процесс – влияние на них методов и подходов исторической науки. В науковедческой литературе даже появилось понятие «исторического поворота в социологии», что было немислимо не только в начале прошлого столетия, когда зарождавшиеся социальные науки стали обживать предметные поля, еще недавно находившиеся в исключительной «юрисдикции» историков, но и позже, когда влиятельные социологические теории брали на себя смелость подлинно научного объяснения неких законов развития общества, оставляя истории, в лучшем случае, роль поставщика эмпирического «сырья».

¹⁶ Ретина Л. П. Указ. соч. С. 10.

¹⁷ Бессмертный Ю. Л. Многоликая история: (Проблема интеграции микро- и макроподходов) // Казус: Индивидуальное и уникальное в истории. М., 2000. Вып. 3. С. 58.

¹⁸ Уваров П. Ю. Реванш социальной истории. С. 238.

На сегодняшний день необходимость поиска адекватного инструментария для изучения множества аспектов жизни общества в различных временных и пространственных перспективах признана не только историками, но и социологами¹⁹. На страницах журнала «International Sociology» Т. Кларк и С. Липсет была развернута дискуссия об адекватности использования для описания социальной реальности понятия «социальный класс» и целесообразности формулировки принципа множественности критериев для обозначения места и роли различных социальных групп. В рамках «исторического поворота в социологии» произошло критическое осмысление ограниченности изучения «стабильных структур» и, как следствие, понимание недостаточности для исследования разнонаправленных социальных изменений ряда центральных категорий, а также признание многомерности статусных характеристик различных групп²⁰. В работах представителей так называемой «третьей волны американской социологии» (Р. Аминадзе, Дж. Касанова, Э. Клеменс, Б. Дилл, Д. Дж. Франк, Л. Гриффин, Дж. Хайду, Дж. Мэйер, У. Сьюэл) заметно смещение исследовательского интереса с изучения стабильных макроструктур на выявление причин, содержания и последовательностей различных по своим масштабам событий, роли культурных паттернов поведения, суммарно приводящих к важным социальным изменениям²¹. Постепенно критическое осмысление ограниченности абстрактных теоретических схем для изучения социума и невозможность учесть все многообразие разнонаправленных факторов, воздействующих на мотивацию и поведение как отдельных индивидов, так и различных социальных групп, способствовало отходу от статичной модели изучения социальных феноменов и постепенному складыванию исследовательской модели «решения задач». Основой такой модели является признание бесперспективности поиска жестких детерминант, определяющих поведение индивидов, и акцентирование внимания на процессе возникновения актуальных для человека задач, поиск вариантов решения которых происходит как в соответствии, так и вопреки групповым представлениям о месте и границах допустимого поведения в конкретный момент времени. При таком подходе взгляд на общество как иерархически организованную социальную структуру, предполагающую наличие четко обозначенных сословий или классов, далеко не всегда позволяет объяснить, а в идеале – понять, многообразие социальных групп и направленность практических действий участников социальных взаимодействий.

Таким образом, заметной тенденцией в развитии как социологии, так и собственно исторического знания является поиск методологических оснований так называемого «среднего уровня». В перспективе необходима выработка системы категорий, позволяющей, с одной стороны, описывать историческую реальность, используя аутентичные понятия, с помощью которых сами исторические персонажи определяли свое место в системе социальных взаимосвязей, а с другой – проследить тенденции в развитии как отдельных групп, так и общества в целом. При этом не нужно стремиться построить очередную и все объясняющую модель, а необходимо, основываясь на данных исторических источников, выявить особенности мировосприятия и стереотипы поведения множества субъектов общественных отношений, формы и результаты их взаимодействий друг с другом. С этой целью следует обратиться к широкому спектру

¹⁹ О поисках социологами новой исследовательской парадигмы в социологии см., например: *Кулыгин В. П.* Тренды мировой социологической методологии // Проблемы теоретической социологии. СПб., 2007. Вып. 6. С. 28–38; *Резник Ю. М.* Социальная теория: предмет и междисциплинарный статус // Вопросы социальной теории. 2007. Т. 1, вып. 1. С. 306–320; *Полякова Н. Л.* Методологические основания построения теории общества в социологии конца XX – начала XXI в.: отход от «социологической ортодоксии» // Вестн. МГУ. Сер. 18: Социология и политология. 2011. № 4. С. 76–93; *Иванов О. И.* Междисциплинарные области научных исследований в социальных науках (современное состояние и перспективы их развития) // Проблемы теоретической социологии. СПб., 2011. Вып. 8. С. 26–38.

²⁰ *Савельева И. М.* «Исторический поворот» за границами истории // Историческое познание и историографическая ситуация на рубеже XX–XXI вв. М., 2012; *Татарчевская Т.* О новом историческом повороте в социологии // Социол. обозрение. Т. 11, № 1. 2012. С. 75–83.

²¹ *Савельева И. М.* Историческая социология и социальная история в XXI веке: мосты и переправы // Стены и мосты: междисциплинарные подходы в исторических исследованиях: материалы междунар. науч. конф. М., 2012. С. 122.

исторических источников различной видовой принадлежности, отражающих не только стремление властных структур к социальному проектированию, но и обоснование практических действий отдельных индивидов или коллективов. Все это позволит показать, что на уровне повседневных контактов взаимодействие представителей различных социальных групп было гораздо сложнее и многообразнее, чем это предписывалось юридическими нормами или принятыми в обществе представлениями о престиже, статусе и «приличиях».

Решение данной задачи возможно только в рамках комплексного междисциплинарного подхода на основе интеграции различных теоретических моделей, созданных в рамках истории и социологии. Очевидно, что при наличии множества теорий и методологических установок, сосуществующих в поле современного социологического знания, необходимо установить ряд критериев, с помощью которых исследователь может производить отбор только тех из них, которые отвечают целям и задачам конкретно-исторических исследований. Такими критериями могут быть следующие характеристики концептуальных моделей: 1) признание многомерности социального пространства и наличия множества признаков социальной дифференциации; 2) акцентирование внимания на характере существовавших в обществе «границ» между социальными группами и возможностях «трансграничных» перемещений; 3) направленность на исследование содержания и результатов повседневных взаимодействий представителей различных социальных групп; 4) постановка вопроса о соотношении индивидуальной и групповой самоидентификации, а также формальной и неформальной идентификации (юридическая дифференциация и внутригрупповые представления соответственно).

1.1. Историческая социология в поисках методологических оснований теории «среднего уровня»

С учетом обозначенных критериев из всего многообразия концептуальных конструкций изучения общества определенным интересом для историка, исследующего различные аспекты социального в исторической ретроспективе, представляют несколько теоретических моделей, наиболее продуктивных, на наш взгляд, с точки зрения их применения в современных исследованиях по социальной истории. Последовательно рассматривая каждую такую социологическую модель, историку необходимо сконцентрировать внимание на ряде ключевых вопросов:

– каким образом может быть представлено социальное устройство в пространственно-временном измерении, вне зависимости от его длительности – на протяжении жизни отдельного индивида или нескольких поколений;

– что определяет границы свободы индивида и характер структурного принуждения на различных уровнях социальной организации;

– возможно ли адекватно описать процесс формирования социальной идентичности не только на формально-правовом, но и эмоционально-коммуникативном уровне;

– какое влияние оказывают процессы социального подражания, адаптации и отторжения на характер межгруппового взаимодействия развитие общества в целом.

В качестве базовых концептуальных моделей изучения социального, содержащих потенциально применимые в историческом исследовании подходы, мы предлагаем сопоставить «*фигуративную социологию*» Норберта Элиаса, «теорию структуризации» Энтони Гидденса, *теорию «интеракционных ритуалов»* Рэндалла Коллинза, «теорию подражания» французского социолога Габриеля Тарда.

Одним из примеров сближения исследовательского поля историков и социологов может служить «фигуративная социология» *Норберта Элиаса* (1897–1990)²². Еще в конце 1930-х

²² См. подробнее: Козловский В. В. Фигуративная социология Норберта Элиаса // Журнал социологии и социальной антропологии. 2000. № 3. С. 40–66; Шубрт И. Общество индивидов в фигуративной социологии Н. Элиаса // Социол. исслед. 2015.

гг. он писал о необходимости поиска новой исследовательской модели социальных процессов, которая не сводилась бы ни к структуралистским схемам, рассматривавшим поведение индивида как производное от внешних условий, ни к крайне индивидуалистическим теориям, провозглашавшим доминирование роли субъективного фактора.

В предложенной Н. Элиасом модели «социум» не представляется чем-то заранее предопределенным, состоящим из статичных единиц, а рассматривается как множество динамично развивающихся во времени и пространстве взаимодействий. При таком понимании социальная реальность, по выражению Н. Элиаса, больше похожа на «танцплощадку», на которой, учитывая перемещения других людей, взаимодействуют индивиды. Используя метафору «танца» и командной «игры», он утверждал, что социальные процессы не обусловлены каким-то одним фактором, а разворачиваются на нескольких, имеющих сетевую структуру уровнях взаимодействия индивидов. В работе «О процессе цивилизации» он подчеркивал: «...люди находятся в сети взаимозависимостей, которые прочно привязывают их друг к другу»²³. Именно сетевой характер человеческих взаимодействий, проявляющийся в том, что каждый индивид испытывает определенное влияние со стороны других индивидов и одновременно сам оказывает влияние на тех, с кем он вступает во взаимодействие, составляет сущность человеческого общества.

Для обозначения различных «форм связи, ориентированных друг на друга и взаимозависимых людей», Н. Элиас предложил термин «фигурация». Аргументируя целесообразность его использования, он писал: «С его помощью можно ослабить социальное принуждение думать и говорить так, будто “индивид” и “общество” есть две различные и, более того, антагонистические фигуры»²⁴; «Оно лучше и без всяких двусмысленностей выражает то, что “общество” не является ни абстракцией, полученной от свойств каких-то внеобщественных индивидов, ни системой или “целостностью”, существующей где-то по ту сторону индивидов. Речь идет о *сети взаимозависимостей, сплетенной самими индивидами*»²⁵. Понятие «фигурация», по мысли автора, применимо и при изучении малых групп, и в отношении «обществ, состоящих из тысяч или миллионов взаимозависимых индивидов». В качестве примера Н. Элиас приводит, с одной стороны, малые социальные группы, составляющие «относительно обозримые фигуры» (учитель и ученики в классе, врач и пациенты в группе терапии и т. п.), а с другой – «комплексные фигуры», в которых сети взаимозависимостей более сложные и масштабные (жители деревни, большого города)²⁶.

Взгляд на общество как на совокупность одновременно сосуществующих и взаимодействующих друг с другом «фигураций» делает бесперспективным использование категорий макросоциологии. Понятия «социальный институт» или «класс» могут быть удобны для построения масштабных теорий и концепций, но они не отражают всего спектра сложных социальных взаимодействий индивидов. Однако это не означает отказа Н. Элиаса от выявления общих тенденций развития социальных процессов. Напротив, фигуративный подход, наряду с исследованиями на уровне повседневных практик, позволяет изучать во многом абстрактные, с точки зрения отдельного индивида, но реально существующие и оказывающие непосредственное влияние на его жизнь структуры. Одной из таких организационных структур является, например, «государство», возникновение которого Н. Элиас рассматривал как процесс формирования «фигурации, образуемой из множества относительно малых общественных объединений, свободно конкурирующих друг с другом»²⁷.

№ 11. С. 139–148.

²³ Элиас Н. О процессе цивилизации: социогенетические и психогенетические исследования: в 2 т. М., 2001. Т. 1. С. 43.

²⁴ Элиас Н. Понятие фигуры // Журнал социологии и социальной антропологии. 2000. № 3. С. 63.

²⁵ Элиас Н. О процессе цивилизации... С. 43.

²⁶ Элиас Н. Понятие фигуры. С. 64.

²⁷ Элиас Н. О процессе цивилизации... С. 44.

В общем виде различные по числу участников и характеру взаимодействий локальные «фигурации» лишь часть общества, которое само является большей по масштабу, сложно организованной и внутренне гетерогенной «фигурацией». Таким образом, концептуальная модель Н. Элиаса – вариант снятия противоречия между макро- и микроуровнями при изучении социальных процессов. При этом автор, отвергая дедуктивную логику построения теоретических моделей, основные положения фигурационного подхода сформулировал на основе конкретно-исторического исследования изменений в сознании и поведении индивидов в странах Западной Европы при переходе от Средневековья к Новому времени²⁸.

Трактовка общества как сложной сети взаимодействий субъектов становится одной из заметных тенденций в социологии последней трети XX – начала XXI в. Подтверждением интереса социологов к данной проблематике являются работы английского социолога *Энтони Гидденса*, разработавшего в середине 1980-х гг. «теорию структуриации». Пытаясь создать теорию «среднего уровня», он предложил переосмыслить противостояние макро- и микроуровней «...с позиций того, каким образом взаимодействие... “лицом к лицу” структурно встроено в систему обширных пространственно-временных институциональных образований»²⁹.

Провозглашая практику взаимодействия индивидов ключевым феноменом для понимания природы социального, Э. Гидденс констатировал «дуальность» социальной структуры (Duality of structure), которая проявляется следующим образом: структуры делают возможным социальное действие, а социальное действие формирует структуры³⁰. В такой модели «структуральные свойства социальных систем не существуют вне практических действий», а сама структура выступает как «посредник и как продукт поведения, которое она непрерывно организует»³¹. Именно поэтому, по мнению Э. Гидденса, исследование социальных процессов возможно посредством изучения разнообразных *практик*, содержание которых не ограничено только поведенческими стратегиями, имеющими всегда характер осознанного целенаправленного выбора, а включает в себя и нерациональные действия, совершенные в результате недостаточной информированности индивида или непредвиденного стечения обстоятельств. В данном контексте практика – это *совокупность осознанных и неосознанных принципов, организующих поведение индивидов во времени и пространстве*. Поэтому исследовать необходимо не столько материальные основания социальной дифференциации, сколько поведение акторов социальных взаимодействий, их представления об окружающем пространстве и то, что они считали нужным знать для свободной ориентации в потоке повседневной социальной жизни³².

Акцентирование внимания на различных «феноменах, наделенных смысловым содержанием», по мнению Э. Гидденса, необходимо, так как любые трансформации в обществе связаны с изменениями характера взаимодействия людей, в процессе которых и образуются социальные структуры, а следовательно, «устройство общественных институтов можно осмыслить, поняв, каким образом различные *социальные деятельности* “растягиваются” в широком пространственно-временном диапазоне»³³.

В данном контексте обращение к ключевым для социальной теории понятиям «время» и «пространство» позволило автору утверждать, что «историческое исследование есть исследование социальное, и наоборот», а «история есть структуриация событий во времени и в пространстве путем непрерывного взаимодействия деятельности и структуры»³⁴.

²⁸ Элиас Н. О процессе цивилизации...; *Его же*. Придворное общество. Исследование по социологии короля и придворной аристократии с Введением: Социология и история. М., 2002; *Его же*. Общество индивидов. М., 2001.

²⁹ Гидденс Э. Устроение общества: Очерк теории структуриации. М., 2005. С. 22.

³⁰ Гидденс Э. Указ. соч. С. 69–73.

³¹ Там же. С. 498.

³² Там же. С. 388.

³³ Там же. С. 15–16.

³⁴ Там же. С. 479, 485.

Подобное «прочтение» социальных процессов может быть полезно историку, так как оно позволяет рассматривать активно действующую личность не только как часть определенной социальной группы, но и как субъекта, соорганизующего окружающее социальное пространство в соответствии с его положением и возможностями. Однако при этом важно четко понимать, что представляла собой социальная структура в определенный исторический период и каким образом исследователь может зафиксировать ее основные характеристики с целью последующего изучения вопросов о самоидентификации и групповой идентификации индивида, границах и маркерах социальной дифференциации, существовавших ограничениях и стимулах тех или иных практических действий.

При всей абстрактности утверждения Э. Гидденса о природе социальной структуры, которая выступает как «... свойство социальных систем, “заключенное” в практиках, регулярно воспроизводимых в пространстве и времени»³⁵, она может быть описана и посредством вполне реальных характеристик. Любая социальная структура, по мысли автора, включает в себя «правила» и «ресурсы», рекурсивно вовлеченные в систему социального воспроизводства³⁶. Содержательно «правила» представлены формально определенными нормами (например, законодательными актами) и сложившимися представлениями о значимости определенных моделей поведения, а ресурсы – способностью оказывать властное воздействие и распределять различные материальные блага. Наличие такого рода «правил» и «ресурсов» упорядочивает социальные системы «по вертикали и горизонтали»³⁷.

В общем виде предлагаемая модель изучения подразумевает комплексное рассмотрение поведенческих практик в четко определенном пространственно-временном контексте. Исходя из принципа контекстуальности (Contextuality) при исследовании социальных взаимодействий, необходимо выявить: а) «пространственно-временные границы» взаимодействия (локализация и изменение обстоятельств места и времени)³⁸; б) эффект «соприсутствия акторов», т. е. особенности взаимовлияния одновременно присутствующих субъектов в процессе коммуникации между ними; в) осведомленность акторов социальных взаимодействий (личный опыт, знания, слухи и т. п.) о правилах и возможных последствиях своих действий³⁹.

В конкретно-историческом исследовании акцентирование внимания на «соприсутствии» других акторов, личном опыте и знаниях о поощряемых и запрещенных моделях поведения, содержании и санкциях за нарушение существующих запретов, а также осознании неравенства индексов социальной позиции представителями различных групп является основополагающим условием для постановки вопроса о личной самоидентификации и групповой идентичности людей изучаемого времени.

В теории структуризации *социальная идентичность* имеет двойственную природу. С одной стороны, она непосредственно ассоциируется с нормативными правами, обязанностями и санкциями, которые формируют роли, функционирующие в пределах тех или иных коллективов, а с другой – проявляется посредством практических действий человека, которые и являются «маркерами» его «позиционирования» в обществе⁴⁰. По мнению Э. Гидденса, «позиционирование» индивида может иметь несколько масштабов одновременно: 1) относительно других людей в условиях непосредственного «соприсутствия»; 2) «относительно потока повсе-

³⁵ Гидденс Э. Указ. соч. С. 248.

³⁶ Там же. С. 267, 501.

³⁷ Там же. С. 248.

³⁸ Э. Гидденс предлагал при изучении повседневной жизни, которая неизбежно сопровождается изменениями, связанными не только с течением времени, но и с территориальными перемещениями индивида, использовать термин «временная география», см.: Гидденс Э. Указ. соч. С. 174–190. Более подробно проблемное поле и методы «временной географии» представлены в работах шведского социального географа Т. Хагерстранда (Hagerstrand).

³⁹ Гидденс Э. Указ. соч. С. 384, 386, 490, 499.

⁴⁰ Там же. С. 386.

дневности», т. е. в рамках привычных и неоднократно повторяющихся контактных взаимодействий; 3) «относительно течения собственной жизни» и произошедших изменений статусных характеристик; 4) относительно «сверхиндивидуальной структуры социальных образований», т. е. в результате сопоставления себя как члена какой-либо социальной группы с другими группами и коллективами. Именно на этом уровне у индивида может возникать чувство *групповой идентичности*. При этом, по словам Э. Гидденса, «подобные чувства обнаруживаются на уровне практического и дискурсивного сознания и не предполагают “единодушия во взглядах” (“консенсуса ценностей”))». Более того, «индивиды могут осознавать свою принадлежность к определенной общности, не будучи уверенными, что это правильно и справедливо»⁴¹.

Таким образом, социальная идентичность возникает на основе близости формально определенных прав и обязанностей, но не предполагает общности мировоззрения и позиций по различным вопросам общественной жизни. Для историка данная трактовка понятия «идентичность» позволяет конструировать более сложную модель социального устройства, нежели классовая или сословная парадигма. Близость, но не полная тождественность нормативно-правового статуса и необязательность «единодушия во взглядах» – все это, в совокупности с направленностью практических действий исторического персонажа, может стать методологическим основанием для объяснения противоречий и конфликтов, возникавших внутри одной социальной группы. С этих позиций тезис об отсутствии внутригруппового «единодушия» является интересным для историка, сталкивающегося в исследовании не только с множественной фрагментацией мнений и позиций по какому-либо вопросу, но и негативными оценками индивидом роли, качеств и способностей определенной части общей с ним социальной группы. Используя данный подход, возможно изучение «расколотости», или множественной дифференциации, социальной идентичности внутри, например, российского дворянства и крестьянства.

Еще один важный аспект исследования социальных процессов, представленный в теории структуризации Э. Гидденса, – проблема соотношения свободы человека в обществе и силы так называемого «структурного принуждения». Руководствуясь обозначенным ранее принципом «дуальности» («двуединства»), Э. Гидденс подчеркивал: «Структурные ограничения не действуют независимо от мотивов и соображений субъектов деятельности, лежащих в основе того, что они делают. Их нельзя уподобить последствиям землетрясения, стирающего с лица земли города и лишаящего жизни их население... Единственным подвижным объектом системы социальных отношений являются индивидуальные субъекты деятельности, намеренно или нет использующие ресурсы»⁴². В данном контексте «структура всегда как ограничивает, так и создает возможности для действия, и это происходит в силу объективных отношений между структурой и деятельностью (деятельностью и властью)»⁴³.

В общем виде, поскольку социальная структура есть одновременно и результат, и условие практических взаимодействий акторов, «структурное принуждение» осуществляется в результате деятельности индивидов в рамках тех норм, правил и ресурсов, которыми они обладают. С этих позиций, продолжая логику автора, можно утверждать, например, что государство не является неким абстрактно существующим субъектом, а действует только через *конкретных людей*, которые посредством нормативно-правовых актов создают границы свободы человека в обществе и осуществляют контроль за их исполнением. При этом сами «контролеры» также вынуждены подчиняться системе норм и правил, регламентирующих их поведение.

Одновременно с нормативно-правовым ограничением пределы и направленность структурного принуждения определяются самими акторами, их потребностями и характером «осве-

⁴¹ Там же. С. 242.

⁴² Гидденс Э. Указ. соч. С. 262.

⁴³ Там же. С. 247.

домленности» о возможных вариантах поведения и его результатах в конкретной ситуации. Такой сценарий поведения, по словам Э. Гидденса, является следствием «способности субъектов понимать, что они делают, в то время как они это делают». Именно поэтому для индивида, вне зависимости от того, кто и каким образом осуществляет «принуждение», оно воспринимается лишь как ограничение «альтернатив, доступных субъекту или субъектам деятельности в данных условиях или обстоятельствах»⁴⁴. Конечно, спектр имеющихся у конкретного человека альтернатив может существенно отличаться в зависимости от его положения в обществе, но принципиально важно, что в большинстве случаев – за исключением, конечно, влияния природно-климатических и биологических факторов – сила структурного принуждения будет зависеть от характера его взаимоотношений с другими субъектами, наличия у них ресурсов для осуществления властных полномочий.

Представление о важности взаимодействий индивидов, образующих разнообразные по целям, составу и длительности существования группы, способствовало поиску теоретических моделей, объясняющих поведение индивидов в социальном пространстве, а также процесс формирования личной и групповой идентичности. Одной из таких концептуальных моделей является теория «интеракционных ритуалов» *Рэндалла Коллинза*. Заимствуя элементы теории «социальной солидарности» Э. Дюркгейма и концепции ритуализации повседневных микроинтеракций И. Гофмана⁴⁵, Р. Коллинз основным предметом исследования считал «социальную ситуацию». По его словам, изучение общества возможно только посредством выявления последовательностей взаимодействия людей, так как любое социальное явление «...становится реальным только тогда, когда проявится в какой-нибудь ситуации»⁴⁶ и «...вся полнота социальной жизни – это общая совокупность ситуаций, в которых оказываются люди в своей повседневной жизни»⁴⁷. Подобный подход к пониманию природы окружающей человека действительности означает, что любые абстрактные явления, такие как «власть», «экономика», «политика» или «культура», не существуют до тех пор, пока мы не можем увидеть, каким образом они проявляются в конкретных ситуациях и как они влияют на поведение людей.

В теории Р. Коллинза макроструктуры формируются из микроситуаций интеракций, а их стабильность зависит от того, насколько индивиды воспроизводят необходимые типы взаимосвязей. Именно поэтому изучение макропроцессов возможно и необходимо осуществлять только посредством обращения к ситуациям взаимодействия индивидов, обозначаемым понятием «*ритуал интеракции*». Размышляя об эвристических возможностях теории ритуала интеракции, Р. Коллинз писал: «...это ключ к микросоциологии, а микросоциология, в свою очередь, является ключом ко многим более общим проблемам. Интеракция небольших масштабов, протекающая здесь-и-сейчас, в ситуации лицом к лицу, представляет собой сцену действия и место социальных акторов»⁴⁸.

Следует отметить, что предложенная трактовка концепта «интеракционный ритуал» как универсальной модели взаимодействия до определенной степени похожа на концепт «практика» в теории структуризации Э. Гидденса⁴⁹. Но Р. Коллинз идет чуть дальше, концентрируя внимание на том, каким образом меняются в результате взаимодействия его участники. Он задает вопрос о механизмах возникновения в процессе интеракции чувства «солидарности»

⁴⁴ Гидденс Э. Указ. соч. С. 257.

⁴⁵ См., например: Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. М., 1996; Гофман И. Представления себя другим в повседневной жизни. М., 2000; Его же. Анализ фреймов: Эссе по организации повседневного опыта М., 2004.

⁴⁶ Цит. по: Прозорова Ю. А. Теория интерактивных ритуалов Р. Коллинза: от микроинтеракции к макроструктуре // Журнал социологии и социальной антропологии. 2007. Т. 10, № 1. С. 69.

⁴⁷ Коллинз Р. Программа теории ритуала интеракции // Там же. 2004. Т. 7, № 1. С. 38.

⁴⁸ Там же. С. 27.

⁴⁹ Гидденс Э. Указ. соч. С. 57.

и группой идентичности. Такой ракурс исследования социальных взаимодействий, безусловно, интересен историку, так как помогает решить несколько принципиально важных вопросов.

Во-первых, теория интеракционных ритуалов затрагивает проблему соотношения индивидуального и коллективного социального опыта. С позиции Р. Коллинза, личность, аккумулируя опыт предшествующих взаимодействий, формируется и постоянно изменяется в процессе перемещения от одной интеракции к другой⁵⁰. В данном контексте, по словам автора, «...повседневная жизнь – это опыт движения по цепочке ритуалов интеракции»⁵¹. Именно личный опыт участия в различных ситуациях формирует поведение индивида в настоящем, а, следовательно, для корректной интерпретации содержания и результата взаимодействия исследователь должен проследить «цепочки интеракций», в которых участвовал человек. В рамках исторического исследования данный подход предполагает последовательное рассмотрение корректировки взглядов, ценностей и мировоззренческих установок индивида в контексте изменений характера его формальных или неформальных контактов.

Однако поскольку любой интеракционный ритуал – это всегда взаимодействие, оказывающее влияние на всех его участников, то он является важным механизмом создания коллективного опыта, общих переживаний и чувства сопричастности к чему-либо. Подчеркивая пластичность и подвижность процесса формирования совместного опыта, автор не дает четкого определения «интеракционного ритуала», а лишь обозначает основные характеристики и обстоятельства, необходимые для его возникновения: сопричастие двух или более индивидов; высокая степень эмоциональной включенности и сосредоточения внимания сторон друг на друге; понимание участниками границ взаимодействия, отделяющих их от тех, кто к нему не причастен; возникновение желания действовать в соответствии с нравственными устремлениями и совместно определяемыми (хотя и не обязательно четко сформулированными вербально) целями и ориентирами⁵². Возникающее в процессе взаимодействия эмоциональное напряжение, по словам Р. Коллинза, «является высшей точкой коллективного опыта, ключевыми моментами истории, теми периодами, когда происходят знаменательные события»⁵³.

Конечно, все обозначенные автором характеристики ритуала интеракций не всегда могут быть реконструированы в исторической ретроспективе. Более того, высокую степень эмоциональности, возникновение желания действовать в соответствии с общими установками сложно отнести к разряду повседневных ситуаций. Такая модель может быть полезной при рассмотрении каких-либо необычных обстоятельств, выходящих за рамки бытового взаимодействия. К ним может быть отнесено, например, поведение крестьян, участвующих в восстании против помещика, судебное разбирательство между конфликтующими сторонами, обсуждение какого-либо актуального вопроса в тайном обществе, составление жалобы или прошения к властям и т. п. Ценность предлагаемой модели состоит в том, что она акцентирует внимание исследователя на континуальности индивидуального опыта, полученного в ходе предшествующих взаимодействий, его встраивании, с учетом опыта других участников и новых внешних обстоятельств, в процесс как внутри-, так и межгруппового взаимодействия.

Во-вторых, основные положения теории интеракционных ритуалов позволяют представить сложный процесс возникновения индивидуальной и групповой идентичности. Групповая идентификация, формирующаяся в результате множества интеракций, содержательно включает в себя общность эмоциональных переживаний, «чувство солидарности» и восприятие какого-либо объекта в качестве «сакрального символа», представляющего отличительные характеристики социальной группы. В конкретно-историческом преломлении, на наш взгляд,

⁵⁰ Коллинз Р. Указ. соч. С. 29.

⁵¹ Там же. С. 37.

⁵² Там же. С. 35.

⁵³ Там же.

в качестве таких «символов» могут выступать, например, утверждения о наличии у членов группы особых свойств и качеств (достоинство, благородство, предприимчивость) или, напротив – их угнетенном положении, преодоление которого воспринимается как цель совместных действий.

В-третьих, предложенный подход к изучению социального посредством реконструкции внутри- и межгрупповых взаимодействий имеет значительный эвристический потенциал для реконструкции многомерности социального пространства и выявления различных маркеров социальной дифференциации. Решение данной проблемы возможно на основании тезиса автора о двойном стратифицирующем эффекте ритуала интеракций.

Первый уровень дифференциации связан, по мнению Р. Коллинза, с тем, что «некоторые группы обладают бóльшим объемом ресурсов для выполнения своих ритуалов, чем другие, а следовательно, характеризуются большей солидарностью, и в силу этого, могут командовать менее солидарными группами»⁵⁴. В качестве таких ресурсов, позволяющих осуществлять властное доминирование одной группы над другой, используются символический капитал и различные материальные блага. Так, например, в качестве важного ресурса не только для внутригрупповой общности, но и для контактов или даже вхождения в более сильные «интеракционные круги» может использоваться собственность и доступ к властным структурам. Второй уровень связан с неизбежным процессом внутригруппового структурирования, так как не все члены группы в равной степени являются инициаторами взаимодействия и «некоторые индивиды занимают более привилегированное положение в силу того, что находятся ближе к центру ритуала»⁵⁵.

Таким образом, автор приходит к важному для понимания природы социальной дифференциации выводу: «Ритуалы обладают двойным стратифицирующим эффектом. Они порождают стратификацию между людьми, включенными в ритуал, и аутсайдерами, а также – внутри ритуала – между лидерами и последователями; следовательно, ритуалы представляют собой ключевые механизмы, или даже главное оружие, в процессах конфликта и доминирования»⁵⁶. В общем виде социальная стратификация в теоретической модели Р. Коллинза – властно-сетевая макроструктура, в которой положение индивида может быть определено одновременно в вертикальной иерархической плоскости власти и в горизонтальной сетевой плоскости локальных ситуаций⁵⁷.

Многомерность социальной структуры подразумевает не только множество формальных и неформальных признаков для социального структурирования и самоидентификации индивидов, но и определенную пластичность социальных перегородок, которые, существуя в нормативно-правовой плоскости, не являются полностью непроницаемыми и неподвижными⁵⁸. При ближайшем рассмотрении, например, мульти-сословного по своему составу городского населения России имперского периода становится очевидным, что представители различных сословных и внутрисословных групп оказывали непосредственное взаимное влияние на поведение и поступки друг друга. Неизбежно встречаясь на улицах города, в торговых помещениях, во дворах многоквартирных домов и т. п., люди могли воспринимать образцы поведения, оценивать морально-нравственные, деловые и иные качества друг друга, передавать в форме слухов или личных суждений о чем-либо разнообразную информацию. Наличие подобного рода личных контактов с представителями «чужих» социальных групп оказывало влияние на мировосприятие человека, его самооценку и мотивацию конкретных поступков.

⁵⁴ Коллинз Р. Указ. соч. С. 34.

⁵⁵ Там же.

⁵⁶ Там же.

⁵⁷ Прозорова Ю. А. Указ. соч. С. 70.

⁵⁸ См. подробнее: Мамедов А. К., Якушина О. И. Теоретические подходы к пониманию идентичности в современной социологической науке // Вестн. МГУ. 2015. № 1. С. 43–59.

Игнорирование данного факта означает упрощение и схематизацию социальных процессов, навязывание конкретному индивиду общегрупповой логики и мотивации, в то время как индивидуальное поведение могло быть обусловлено ориентацией на «образец» поведения не только членов своей социальной группы, но отдельных представителей других социальных групп. В качестве одной из методологических установок конкретно-исторического исследования, нацеленного на выявление направленности и результатов такого рода взаимовлияний, может служить «теория подражания» французского социолога *Габриеля Тарда*.

Стремясь определить факторы социальных изменений, Г. Тард призывал отказаться от преувеличения роли выдающихся исторических деятелей и утверждал, что любые социальные трансформации «...объясняются возникновением... значительного числа идей, мелких и крупных, простых и сложных, чаще всего незаметных при их зарождении, по большей части не громких, обыкновенно анонимных, но всегда новых...»⁵⁹. Именно подобного рода идеи, которые Г. Тард обозначал терминами «изобретение» или «открытие», формируют «...всякое дальнейшее улучшение предшествовавшего нововведения во всякого рода социальных явлениях: в языке, религии, политике, праве, промышленности, искусстве»⁶⁰. Такой положительный эффект возможен благодаря социальному «подражанию», т. е. естественно возникающему у индивида стремлению улучшить условия своей жизни, ориентируясь на некоторые известные ему и позитивно оцениваемые образцы. Данный механизм в равной степени работает и при формировании индивидуальных стратегий поведения, и в процессе культурной адаптации заимствованных из «чужой» культурной среды инноваций⁶¹. При этом, вне зависимости от масштаба, подражание является универсальным феноменом, неизменно возникающим в процессе межличностного общения, а, следовательно, выявление его влияния на развитии социума в целом возможно только при анализе взаимодействий на уровне отдельных личностей и малых групп.

В повседневной практике подражание может проявляться в самых различных формах: подражание привычным образцам (обычай); подражание новому и чужому (мода); подражание-воспитание; подражание-симпатия; подражание-повиновение; подражание-обучение. Все эти формы возникают не одновременно, но могут сочетаться и имеют общие признаки, анализ которых позволил Г. Тарду сформулировать два основных закона подражания: «логический» и «сверхлогический». Логические основания подражания – осознание человеком важности и необходимости нововведения, а также того, насколько оно совместимо с существующими знаниями и представлениями. Сверхлогические основания подражания в большей мере связаны с чувствами, верованиями и желаниями индивида. Конечно, в практическом поведении человека оба эти основания сочетаются и во многом определяют направленность его социальных действий⁶². Яркой иллюстрацией такого сочетания является подражание лицам, обладающим более высоким социальным статусом. Г. Тард приводит следующий пример: «Первый средневековый купец, отличавшийся алчностью и тщеславием, желавший обогатиться при помощи торговли и сожалевавший, что он не был дворянином, первый такой купец, усмотрев возможность эксплуатировать свою жадность на пользу своего тщеславия и со временем купить за деньги благородство для себя и своего потомства, полагал, что сделал прекрасное открытие. И действительно, он имел многих подражателей. В самом деле, разве подобная перспектива не могла его не воодушевить, разве он не чувствовал, как обе его страсти становятся разом вдвое

⁵⁹ Тард Г. Законы подражания. М., 2011. С. 7.

⁶⁰ Там же.

⁶¹ См. подробнее: *Фирсова Н.* Предвестник исследований диффузии инноваций Габриель Тард: «Общество – это подражание» // Социология власти. 2012. № 6–7 (1). С. 298–313.

⁶² Тард Г. Законы подражания. С. 122.

сильнее, одна – потому, что золото получало в его глазах новую цену; другая – потому, что предмет его тщеславных мечтаний и печалей становился достигаемым?»⁶³.

Сопоставляя исторические примеры распространения инноваций в различных странах мира, Г. Тард выявил ряд общих закономерностей процесса социального подражания. Во-первых, «...какова бы ни была организация общества – теократическая, аристократическая, демократическая – подражание всюду следует одинаковому закону: оно распространяется от высшего к низшему, и в этом распространении действует изнутри наружу»⁶⁴. Такая схема распространения социального подражания подразумевает несколько принципиально важных аспектов. Первый: нижестоящие по своему материальному или юридическому положению индивиды более восприимчивы к примерам и образцам, транслируемым вышестоящими группами⁶⁵. При этом индивиды и группы, рассматриваемые в качестве ориентира, должны находиться на относительно небольшой социальной дистанции, т. е. быть в зоне досягаемости для подражания. Данный тезис, на наш взгляд, представляется для историка вполне убедительным. Так, например, российский крепостной крестьянин, в силу значительности социальной дистанции, не склонен будет подражать потомственному дворянину, а с большей вероятностью будет ориентироваться на мелкого городского ремесленника или торговца. Именно в результате подражания близким, но вышестоящим группам формальные сословные перегородки не являются непреодолимым препятствием для трансляции идей и формирования новых стереотипов поведения. Второй принцип: постепенно, по мере демократизации общественного строя, сопровождавшейся сокращением социальной дистанции между аристократией и непривилегированными группами населения в результате расширения спектра ненаследственных способов повышения индекса социальной позиции, роль образца для подражания смещается от аристократии к жителям столичных городов⁶⁶. Продолжая рассуждения автора, можно утверждать, что в конечном итоге подражательный импульс исходил не только от столичных городов, но и от губернских, и даже волостных центров. Подобный алгоритм соотношения центра и периферии при формировании системы статусных ориентиров, на наш взгляд, отчетливо прослеживается в России XVIII–XIX вв. В дальнейшем подражание статусным характеристикам, получаемым по наследству, постепенно сменяется подражанием индивидуальным достижениям: коммерческому успеху, положению в чиновничьей иерархии, уровню материального благосостояния и образования, доступу к различным льготам и привилегиям и т. п.

Во-вторых, при изучении социальной направленности подражания необходимо разделять подражание собственным историческим образцам («обычай») и инновациям, заимствованным извне («мода»). При всей очевидности данного утверждения, оно также может быть полезным для построения исторического исследования. Ориентация на собственные исторические традиции для обоснования необходимости отрицания нового или, напротив, проведения каких-либо преобразований по восстановлению «справедливости», «силы закона», «истинного просвещения» и т. п. было характерным явлением на всем протяжении XVIII–XIX вв., а в ряде случаев прослеживается и раньше. При этом следует отметить, что призыв обратиться к нравам и традициям исходил от представителей образованной части российского общества, но содержательно подразумевал ориентацию не на высшие сословия, а на традиции, сохранившиеся в среде российского крестьянства.

С позиции социально-исторического исследования подражание иностранным образцам следует рассматривать в контексте формальных и неформальных каналов циркуляции информации о заимствованных извне идеях, нормах или технологиях. В данном контексте обращение

⁶³ Там же. С. 27.

⁶⁴ Тард Г. Законы подражания. С. 192.

⁶⁵ Там же. С. 285.

⁶⁶ Там же. С. 190.

к культурным механизмам заимствования актуализирует постановку вопроса о статусе и роли иностранцев в России, вне зависимости от их социального происхождения и профессиональной принадлежности – от купцов и ремесленников до технических специалистов и высокопоставленных чиновников. При исследовании конкретно-исторических проявлений разных уровней многофакторного процесса взаимовлияния иностранцев и российской социокультурной среды целесообразно обратить внимание на вывод Г. Тарда о цикличности подражания: первоначально распространение нововведения происходит через подражание-моду, позднее оно воспринимается как привычное и обыденное, а далее становится образцом для подражания, но уже как обычай. Данный подход актуализирует исследование не только процесса *аккультурации* европейских инноваций, предполагающего встраивание «чужого» опыта в условиях привычной социокультурной среды, но и *инкультурации* как процесса освоения современниками уже произошедших и/или происходящих на протяжении их жизни изменений.

* * *

Представленный краткий обзор основных социологических моделей, отобранных в соответствии с обозначенными выше критериями, отчетливо демонстрирует общее направление движения исследователей – от изучения макроструктур к выявлению факторов социальной идентификации и реконструкции различных форм взаимодействий индивидов. В некоторых случаях это приводит к отрицанию реальности любых долговременных структур и утверждению, что социальных групп, как особой формы проявления социального, не существует, а существуют лишь группообразования (ассоциации), которые проявляются через «действия» и «разногласия»⁶⁷. Такой взгляд на природу социального подчеркивает многообразие и динамичность общественных процессов и заслуживает определенного внимания исследователей. Однако для историка важно не только концептуальное методологическое видение социальных процессов, произошедших в изучаемое им время, но и то, как эти процессы могут быть изучены, какие *методы* следует использовать при реконструкции всего спектра многообразных взаимодействий людей прошлого.

1.2. Прочтение истории социума: проблема языка и метода интерпретации

Специфика предметного поля исторической науки не позволяет использовать метод опроса или анкетирования, наблюдения или эксперимента⁶⁸. Единственный канал, связывающий историка с ушедшей в прошлое социальной реальностью, – текст исторического источника. Таким образом, история социального – это история текстов, различных по своему назначению, содержанию и объему, в которых зафиксированы различные типы внутри- и межгрупповых взаимодействий, представления о своем месте в системе общественных отношений, мотивация практических действий и представления о возможных перспективах развития как на локальном уровне, так и в масштабах города, страны или мира.

Посредством анализа текста историк может выявить содержание, направленность и результаты социальных взаимодействий, а, следовательно, обязательным условием их адекватного понимания является изучение языковых практик. К таким языковым практикам следует отнести различные способы публичной и межличностной коммуникации, зафиксированные

⁶⁷ См., например: *Латур Б.* Пересборка социального. Введение в акторно-сетевую теорию. М., 2014.

⁶⁸ Лишь при изучении недавнего прошлого, сохранившегося в памяти ныне живущих современников, возможно частичное заимствование инструментария социологов или этнографов и использование комплекса методов «устной истории». См. подробнее: *Томпсон П.* Голос прошлого. Устная история. М., 2003.

в письменной форме: материалы периодической печати; учебные пособия и научно-публицистические произведения; тексты устных выступлений с докладами или «речами»; распоряжения властных структур в форме манифестов, указов, законов и другие нормативно-правовые акты; прошения, жалобы, доносы и иные обращения, направляемые представителями различных социальных групп; личную переписку и дневниковые записи. Во всех этих текстах, наряду с обоснованием необходимости их составления и/или совершения каких-либо практических действий, в явной или скрытой форме содержится информация об особенностях индивидуальной и групповой самоидентификации автора, характере взаимоотношений с другими группами, представления о власти и социальной иерархии.

Выявление подобного рода информации возможно при концентрации внимания исследователя не только на том, что было сказано или записано, но и с помощью каких языковых средств это было сделано. Методологическим основанием для проведения анализа языковых практик могут служить наработки немецкой школы *Begriffsgeschichte* и англосаксонского варианта изучения истории понятий – *History of Concepts*. Идеиные основы первого были сформулированы в ряде теоретических работ *Рейнхарда Козеллека*⁶⁹, который совместно с О. Брунером и В. Конце был руководителем проекта по написанию «Исторического лексикона социально-политического языка в Германии»⁷⁰. Методологические установки второго направления отражены в работах *Джона Покока* и *Квентина Скиннера*⁷¹. Наличие подробных историографических обзоров⁷² основных положений немецкой и англосаксонской школы снимает необходимость подробного описания методологических установок истории понятий и позволяет сконцентрировать внимание на альтернативных моделях анализа языковых практик и возможности их применения в исторических исследованиях.

При всех имеющихся разногласиях представители двух направлений признают необходимость при работе с текстом выявлять, что подразумевали и какие действия совершали его авторы, употребляя то или иное понятие, какие дополнительные коннотации оно получало при использовании в различных контекстах, каким образом происходила корректировка содержания как уже известных ранее, так и заимствованных из «чужой» культурной среды понятий. Такой подход позволит избежать «осовременивания» языка прошлого и уйти от некорректного использования понятий, возникших в более поздний хронологический период.

Например, хорошо известное современному исследователю понятие «сословие» уже на рубеже XVIII – первой четверти XIX в. использовалось для обозначения различий положения индивида в обществе, но еще не имело четко определенного значения⁷³. Составители «Словаря

⁶⁹ *Козеллек Р.* К вопросу о темпоральных структурах в историческом развитии понятий // История понятий, история дискурса, история метафор: сб. ст.: пер. с нем. / под ред. Х. Э. Бёдекера. М., 2010. С. 21–33; *Его же.* Можем ли мы распоряжаться историей? (Из книги «Прошедшее будущее. К вопросу о семантике исторического времени») // Отеч. зап. 2004. № 5. С. 226–241; *Его же.* Социальная история и история понятий // Исторические понятия и политические идеи в России XVI–XX века: сб. науч. работ. СПб., 2006. С. 33–53; *Его же.* Теория и метод определения исторического времени // Логос: журн. по филологии и прагматике культуры. 2004. № 5(44). С. 97–130.

⁷⁰ *Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland.* Stuttgart, 1972–1993. Bd. 1–8. В 2014 г. было осуществлен перевод нескольких статей этого словаря на русский язык, см.: Словарь основных исторических понятий: избр. ст.: в 2 т. М., 2014.

⁷¹ *Скиннер К.* Коллингвудовский подход к истории политической мысли: становление, вызов, перспективы // Новое лит. обозрение. 2004. № 66. С. 55–66. *Роскок J. G. A.* Politics, Language and Time. Essays in Political thought and History. L., 1972.

⁷² См. подробнее о методологических основаниях, сходствах и отличиях *Begriffsgeschichte* и *History of Concepts*: *Дмитриев А.* Контекст и метод (предварительные соображения об одной становящейся исследовательской индустрии) // Новое лит. обозрение. 2004. № 66. С. 6–16; *Копосов Н. Е.* История понятий вчера и сегодня // Исторические понятия и политические идеи в России XVI–XX века. С. 9–32; *Рошин Е.* История понятий: новый старый подход общественных наук // Полит. наука. 2009. № 4. С. 43–58; *Бёдекер Х.* Размышление о методе истории понятий // История понятий, история дискурса, история метафор. С. 34–65; *Миллер А. И., Сдвижков Д. А., Ширле И.* «Понятия о России»: к исторической семантике имперского периода. Предисловие // «Понятия о России»: к исторической семантике имперского периода. М., 2012. Т. 1. С. 5–46.

⁷³ См.: *Фриз Г. Л.* Сословная парадигма и социальная история России // Американская русистика: Вехи историографии последних лет. Императорский период: антол. / сост. М. Дэвид-Фокс. Самара, 2000. С. 123–162.

Академии Российской» объясняли читателям, что «сословие – собрание, число присутствующих где особ» или «общество, состоящее из известного числа членов»⁷⁴, а М. М. Сперанский писал о «законодательном сословии» как группе лиц, причастных к системе обсуждения наиболее важных вопросов⁷⁵. Одновременно с такой трактовкой понятие «сословие» могло использоваться и для обозначения различных по своему функциональному назначению и уровню «просвещения» категорий населения. В записке «Опыт о просвещении относительно к России» И. П. Пнин упоминал о «гражданском сословии», которое «...должно непременно составлено быть из мужей истинно достойных, опытных и благонамеренных, известных обществу, сколько по добротству своему, столько по способностям и усердию», но одновременно предлагал «руководство к просвещению главнейших государственных сословий»: «земледельческого, мещанского, дворянского и духовного»⁷⁶. Аналогичное деление общества, выделяя при этом в качестве самостоятельного «купеческое сословие», использовал в черновых «записках для памяти» Н. С. Мордвинов⁷⁷.

В большинстве случаев для описания *юридически значимых различий*, дифференциации прав и обязанностей российских подданных *основным* было понятие «состояние». Именно «состояние», а не «сословие» доминировало в законодательстве и официальном делопроизводстве Российской империи в первой половине XIX в. В данном контексте показательным, что в «Проекте дополнительного закона о состояниях» подчеркивалось, что «коренными государства нашего законами издревле установлены в нем четыре главные *состояния*: дворянство, духовенство, гражданство и крестьянство»⁷⁸. Понятием же «сословие» обозначались различные категории внутри указанных «состояний»: «дворянское состояние» включало в себя «сословие личных» и «сословие потомственных дворян»; «состояние гражданства» – купеческое и мещанское «сословие»; «крестьянское состояние» подразделялось на «сословие крестьян казенных» и «сословие крестьян помещичьих»⁷⁹. В условиях семантической многозначности понятие «сословие» в конце XVIII – начале XIX в. использовалось чаще всего представителями дворянства в размышлениях о преимуществах образованного человека и естественном разделении общества на группы по роду деятельности.

Интересный вариант трактовки общих подходов к изучению социальных процессов посредством обращения к «исторической социологии понятий» предложил российский социолог *Александр Бикбов*⁸⁰. Для исследователя, изучающего различные проявления социального в исторической ретроспективе, определенный интерес представляет несколько методологических установок «исторической социологии понятий».

Во-первых, в отличие от истории слов, историческая социология понятий ориентирована не на реконструкцию «исторической траектории лексем от общества к обществу, из одной языковой среды в другую, или от одних авторов к другим», а на «прояснение того, как понятия направляют практики», каким образом они определяют характер социальных взаимодей-

⁷⁴ Косвенным подтверждением того, что понятие «сословие» в конце XVIII в. не рассматривалось в качестве основного при описании социальной структуры общества, является его размещение не в отдельной словарной статье, а в списке понятий, имевших корень «слов». Для сравнения: Словарь Академии Российской. Ч. 5: От Р до Т. СПб., 1794. С. 544; Словарь Академии Российской, по азбучному порядку расположенный. Ч. 6: От С до конца. СПб., 1822. С. 395.

⁷⁵ *Сперанский М. М.* Введение к уложению государственных законов (1809): (План всеобщего государственного преобразования). М., 2004. С. 23–25.

⁷⁶ *Пнин И. П.* Опыт о просвещении относительно к России // *Общественная мысль России XVIII века*. Т. 2: *Philosophia moralis*. М., 2010. С. 585, 600–622.

⁷⁷ Архив графов Мордвиновых. СПб., 1903. Т. 9. С. 54.

⁷⁸ Проект дополнительного закона о состояниях с принадлежащими к нему приложениями // Сб РИО. Т. 90: Бумаги комитета, учрежденного Высочайшим рескриптом 6 декабря 1826 года. СПб., 1894. С. 363.

⁷⁹ Там же. С. 364–366.

⁸⁰ См.: *Бикбов А.* Грамматика порядка: Историческая социология понятий, которые меняют нашу реальность. М., 2014.

ствий⁸¹. Признание возможности с помощью ключевых социально-политических понятий влиять на общественное мнение, формировать целевые установки индивидов, способствовать групповой консолидации или, напротив, порождать конфликты и дискуссии обуславливает необходимость выявления логической взаимосвязи между понятиями, способами их использования и практическими действиями людей в условиях окружающей их социальной реальности.

В связи с этим принципиально важным является вопрос о том, *кто и как создает и актуализирует ключевые понятия*, каким образом они влияют на поддержание и изменение социального порядка. В поисках ответа на эти вопросы исследователь неизбежно приходит к констатации существования множества трактовок и дополнительных коннотаций одного и того же понятия. Инициаторами создания новых смыслов и их трансляции могут выступать как «коллективные инстанции» (например, государство в лице чиновников различного уровня, профессиональные экспертные сообщества, партийные структуры, образовательные институты и средства массовой информации), так и отдельные индивиды, позиция которых озвучивается публично и становится предметом для обсуждения современниками (например, философические письма П. Я. Чаадаева). На наш взгляд, продуктивным будет исследование не только индивидуальных текстов, чье авторство может быть установлено, но и совместно создаваемых коллективных текстов, ставших результатом поиска современниками конвенциональных соглашений по какому-либо вопросу. В данном случае можно согласиться с рассуждениями А. Бикбова: «Даже если в отдельных случаях можно проследить вклад тех или иных инстанций и участников в итоговую конструкцию понятия, следует исходить из того, что продукт подобных конструкторских усилий соотносим не с индивидуальной авторской интенцией, или результирующим вектором нескольких интенций, а с *практиками*, локализованными в различных, в первую очередь профессиональных, институциях по производству смыслов»⁸².

Анализ процесса трансляции и распространения понятий в ходе разнообразных языковых практик подразумевает обращение историка к широкому спектру текстов. А. Бикбов предлагает отслеживать использование понятий в официальной риторике (публичные речи руководителей к населению и политическому аппарату); материалах политических дебатов и экспертных дискуссий, возникавших в процессе подготовки или принятия новых законов; текстах, создаваемых для внутреннего использования различными административными, финансовыми и техническими подразделениями; проводить статистический анализ распределения ключевых понятий в заглавиях публикаций, библиотечных указателях и классификаторах⁸³.

Во-вторых, необходимость обращения к исторической социологии понятий обусловлена не только важностью реконструкции особенностей мировосприятия людей прошлого, но и «проективной силой» ключевых социально-политических понятий, т. е. «способностью понятий создавать будущее, доопределяя реальность в форме институтов»⁸⁴. Наличие у понятия потенциальной «проективной силы» позволяет современникам использовать его для обоснования направлений внутренней и внешней политики, консолидации какой-либо группы или описания перспектив развития общества. В качестве примера, подтверждающего существование и способы использования понятий-проектов, А. Бикбов приводит анализ понятий «средний класс» и «третье сословие»⁸⁵. Эти понятия российские власти активно использовали со времени Екатерины Великой для обозначения естественного неравенства состояний в России,

⁸¹ Там же. С. 13, 14.

⁸² Бикбов А. Грамматика порядка... С. 19.

⁸³ Там же. С. 19–20.

⁸⁴ Там же. С. 10.

⁸⁵ Там же. С. 31, 47–162.

а также декларации позитивно оцениваемой тенденции сближения социальной структуры России и стран Европы⁸⁶.

Такой подход к изучению социальных процессов в исторической ретроспективе, как представляется, задает двухуровневую структуру исследования: на первом уровне – изучение попыток государства и его институтов структурировать общество, юридически определяя разделение на «состояния», «сословия», «разряды», «ранги» и т. п., а на втором – выявление особенностей восприятия и трактовок подобной политики государства представителями различных социальных групп. На внутригрупповом уровне принципиально важно выяснить, насколько отчетливо современники понимали значение и границы формального разделения и с помощью каких понятий они выражали отличительные характеристики своей социальной группы. При этом важно фиксировать не только юридически установленные верховной властью «маркеры» социальной стратификации, такие как, например, право собственности на населенные земли, влекущее за собой право распоряжения крепостными крестьянами, или размер объявленного капитала для купца соответствующей гильдии, но и то, насколько эти маркеры становились действенными инструментами для личной и группой самоидентификации российских подданных.

Внимательное прочтение источников, создаваемых в России вне правительственного дискурса, позволяет утверждать, что в ходе взаимодействий с представителями различных социальных групп индивид соотносил себя с другими, используя несколько критериев одновременно. Личная и групповая идентификация не могла быть описана одним понятием и предполагала *систему взаимосвязанных категорий*, с помощью которых он мог безошибочно определить свое положение. Именно поэтому, в полном соответствии с основными принципами истории понятий⁸⁷, необходимо реконструировать значение не одной социальной категории, а системы взаимосвязанных понятий, с помощью которых индивид отождествлял себя с той или иной группой или отстаивал необходимость совершения каких-либо действий.

Например, в первой половине XIX в. элементами такой системы были понятия «свобода», «рабство», «собственность», «владение», «состояние», «закон». Все они употреблялись, в частности, при обосновании крестьянских прошений о предоставлении «свободы от рабства», жалобах на несправедливое, с точки зрения заявителя, решение суда о взятии имущества в опеку или необоснованном отказе в праве участия в выборах на должности в городских органах самоуправления и дворянских губернских собраниях. Системный подход к реконструкции нескольких ключевых понятий в текстах различного происхождения позволяет выявить особенности мировосприятия и социальной самоидентификации индивида в условиях окружающей его социально-экономической и политико-административной обстановки.

Яркой иллюстрацией эвристического потенциала «истории понятий» являются результаты сравнительно-текстологического анализа крестьянских прошений и слухов о возможных сценариях отмены крепостного права в первой четверти XIX в.⁸⁸ Обращаясь к властным структурам, крестьянин вынужден был не только отождествить себя с определенной социальной группой, но и описать характер взаимоотношений с другими крестьянами, а также с приказ-

⁸⁶ См. подробнее: *Ширле И.* Третий чин или средний род: история поиска понятия и слов в XVIII века // «Понятия о России»: к исторической семантике имперского периода. Т. 1. С. 225–248.

⁸⁷ См. подробнее о принципах и методах конкретно-исторического исследования на основе интеграции методологических установок *Begriffsgeschichte* и *History of Concepts*: *Тимофеев Д. В.* Европейские идеи в социально-политическом лексиконе образованного российского подданного первой четверти XIX века. Челябинск, 2011; *Его же.* «История понятий» как теоретико-методологическая основа исследований по истории российской модернизации первой четверти XIX века // Изв. Урал. федер. ун-та. Сер. 2: Гуманитарные науки. 2014. № 4(133). С. 123–136; *Его же.* Методология «история понятий» в контексте истории дореволюционной России: перспективы и принципы применения // Диалог со временем: альм. интеллектуал. истории. М., 2015. Вып. 50. С. 116–138.

⁸⁸ См. подробнее: *Тимофеев Д. В.* «Свобода» и «рабство» в крестьянских прошеньях первой четверти XIX века // Вопр. истории. 2015. № 7. С. 79–90.

чиками, помещиком и/или его родственниками. Сопоставление содержания прошений и контекстов употребления понятий «свобода», «рабство», «вольность», «состояние», «владение» позволило выявить несколько особенностей социальной идентификации крепостных людей в России.

Во-первых, «рабство» как система взаимоотношений, предполагающая возможность «своевольного» применения физического насилия и отсутствие имущественных прав, вызывала неприятие у представителей различных сословий российского общества. Особенностью крестьянского понимания было то, что противоположностью «рабства» *одновременно* выступали понятия «свобода/вольность» и «законное владение». При этом для крестьян-земледельцев «свобода/вольность» не обязательно означала переход в другое «состояние», а лишь отсутствие мелочного контроля со стороны помещика. Крепостные же, находящиеся на положении «дворовых людей», особенно те из них, кто длительное время проживали в городах, отождествляли «свободу» с предоставлением личной независимости и возможности уйти от помещика. Во-вторых, наиболее вероятный, с точки зрения крестьян, сценарий решения крепостной проблемы предполагал, что инициатива должна исходить не от помещика, а непосредственно от императора, который, проявляя отеческую заботу обо всех российских подданных, незамедлительно окажет необходимую финансовую помощь бывшим владельцам «населенных земель». Таким образом, сравнительно-контекстуальный анализ использования понятий в текстах исторических источников может стать важным инструментом при выявлении социально-политических представлений и тактических установок практических действий.

Глава 2

«Новая социальная история»: в поисках исследовательских подходов и определения генерализирующих понятий

Исторически сложилось так, что изучение российского социума, в том числе в хронологических границах раннего Нового – Новейшего времени, приобрело новаторский характер вне национальной – российской – исторической традиции. Формирование того сложного и многогранного феномена, который принято сейчас именовать «новой социальной историей», выпало на период политизации исторического знания и его тотальной идеологизации, связанных с возникновением и укреплением Советского государства. Справедливости ради надо заметить, что практически синхронно в аналогичной ситуации оказались и некоторые другие национальные историографии, среди них – германская. Но как бы там ни было, обновление предмета и содержания исторической науки, пережившее несколько качественно важных ситуаций и множество концептуальных «развилков» в межвоенный и послевоенный периоды, а также во время «культурных революций» в Западной Европе и в США 1960-х гг., прошло мимо отечественной историографии или, точнее, не приобрело в ней доминирующего характера.

Таким образом, важнейшие проблемы социальной истории: механизмы социального структурирования общества, выявление широкого спектра формальных и неформальных оснований социальной дифференциации, изучение соотношений формально-юридического статуса и самоидентификации индивидов, социальной мобильности, границ внутри- и межгруппового взаимодействия, наконец, выработка самого языка социальной истории – все это долгое время вызревало и эволюционировало в ходе научных дискуссий в журналах и на площадках семинаров в странах Запада. «Русская тема», разумеется, не была там приоритетной, но, во-первых, эти дебаты имели продуктивную перспективу для осмысления социальной истории России, а во-вторых, с определенного времени в ряде «великих историографических держав»⁸⁹ сформировался круг исследователей, занятых «Russian studies» и применивших наработки национальных школ к постижению социальных процессов в России разных эпох. Поэтому обзор новейших тенденций, связанных с изучением российской социальной истории XVII–XX вв., будет справедливо начать с западных исследований, в том числе основанных на анализе не только российского материала. В этом ряду приоритетное место как по времени начала переосмысления социальной истории, так и по интенсивности исследовательского процесса принадлежит французским историкам.

2.1. Реконструируя историческое прошлое: от социальных структур к сетям и индивидам

По справедливому замечанию П. Ю. Уварова, большинство историков не склонно рефлексировать по поводу того, как нужно писать историю, – они ее просто пишут⁹⁰. За это историкам часто доставалось от собратьев по «смежным» дисциплинам: истории даже отказы-

⁸⁹ Это определение: «великая историографическая держава», насколько нам известно, изобрел П. Ю. Уваров, подразумевающий под ним национальные историографические школы, в рамках которых активно и плодотворно развивается не только изучение собственной национальной, но и всемирной истории. К «великим историческим державам» традиционно относятся Франция, Великобритания, с некоторого времени – США (чаще объединяемая с этой точки зрения понятием «англо-американская историография» с Великобританией), Германия и Россия.

⁹⁰ Уваров П. Ю. История, историки и историческая память во Франции // Уваров П. Ю. Между «ежами» и «лисами»: Заметки об историках. М., 2015. С. 33. Сказано по поводу французских историков, но вполне распространяемо на историков вообще.

вали в праве считаться наукой, в том числе и потому, что у нее нет своей «теории» – последнюю за историю якобы «делала» философия (социология, антропология и т. п.). Но иногда сами историки этим бравировали. «Эпистемология – это поползновение, которое надо уметь решительно пресекать <...> В крайнем случае этому еще могли бы посвятить себя некоторые из лидеров научных школ (которыми мы ни в коем случае не являемся и на звание которых ни в коей мере не претендуем) для того, чтобы лучше защитить неутомимых ремесленников строящегося знания (единственное звание, на которое мы могли бы претендовать) от опасных искушений этой разлагающей моральной дух Капуи»⁹¹. Это написал Пьер Шоню в 1978 г. в работе «Количественная история, сериальная история». И, если верить Антуану Про, французские историки следовали этому завету, по крайней мере, до 1996 г., в котором Антуан Про издал свои «12 уроков по истории»⁹², где отмечал, что до того времени французские историки уделяли мало внимания теоретическим вопросам. «Большинство из них, – пишет он, – не утруждают себя определением в начале книги используемых в дальнейшем понятий и интерпретационных схем», предпочитая «приступать к изучению истории без лишней волокиты» (на чем настаивал еще Шарль Пегги)⁹³. Даже если принять эту констатацию слабости профессиональной саморефлексии французских историков (по крайней мере, до определенного времени), по их трудам вполне можно проследить теоретические предпочтения и найти «следы» работ Э. Дюркгейма, К. Маркса, М. Хальбвакса, М. Вебера, Ж. Гурвича, П. Бурдьё, Л. Болтански и Л. Тевено, а также других социологов. Влияние социологии на исторические исследования довольно ярко прослеживается именно в вопросе (или вопросах) социальной стратификации общества, т. е. структурирования на основе неравенства (по различным основаниям) отдельных его членов. Говоря об этом родстве, нельзя не вспомнить М. Вебера, который считал, что история и социология – это два направления научного интереса, а не две разные дисциплины⁹⁴.

Ориентация на сближение между историей и социологией была особенно заметна в том курсе, который наметили для историков знаменитые «Анналы», сюжет о них невозможно обойти, рассуждая о социальной стратификации и вообще о социальной истории. Однако эта связь с социологией не была однозначной, как считает Н. В. Трубникова⁹⁵. В частности, существовали разногласия между представителями обеих сторон в определении предметов этих наук, но это не мешало историкам заимствовать социологические понятия и методы. Марк Блок тяготел к применению социологических схем, используя позаимствованные у социологов категории «классы», «структуры» и «общество», а также к исследованиям коллективной психологии в духе Дюркгейма. Довоенная французская социальная история намеревалась объяснять прошлое большими социальными структурами, которые историк должен был зафиксировать, идентифицируя критерии группировки, и приступить к работе по категоризации. Таким образом, внимание переносилось с изучения событий на прослеживание истории структур, с истории вещей – на историю ментальности, которая является общей для носителей определенной культуры. Обобщение регулярных, повторяющихся и крупных исторических явлений, как считалось, должно привести к появлению большей научности в истории. Крупные структуры унифицировали людей и вводили в заблуждение, что может существовать скалярное измерение социального.

В 1950-е гг. под влиянием популярного тогда во Франции марксизма широкое понимание социальной истории, изложенное в трудах Люсьена Февра и Марка Блока, уступает изучению

⁹¹ Chaunu P. Histoire quantitative, Histoire serielle. Paris, 1978. P. 10.

⁹² Prost A. Douze leçons sur l'histoire. Paris, 1996.

⁹³ Про А. Двенадцать уроков по истории. М., 2000. С. 7.

⁹⁴ Арон П. Этапы развития социальной мысли. М., 1993.

⁹⁵ См.: Трубникова Н. В. Междисциплинарный альянс или конфронтация? Дискуссии французских историков и социологов по теории социальных наук // Изв. Том. политехн. ун-та. 2005. Т. 308, № 3. С. 192–196; *Ее же*. Французская историческая школа «Анналов». М., 2016.

истории социальных групп и их стратификаций, которые стали представлять главный научный интерес. Историки стремились реконструировать реальную социальную иерархию, хотя и на разных принципах классификации. Отсюда вырос спор о классах и сословиях между приверженцами «Анналов», собственно марксизма и консервативного направления (методической школы), ставший в 1960-е гг. центральным эпизодом французской социальной истории⁹⁶.

Классическая социальная история, представленная Фернаном Броделем и Эрнестом Лабруссом, была построена по дюркгеймовскому социологическому образцу, который определял индивида как социальный продукт. Согласно этой логике, преобладало изучение и массовое описание социальных единиц (знать, крестьяне, буржуазия, рабочие) статистическими, количественными, методами, которые, как виделось, и обеспечивают познание социального. «С научной точки зрения существует только количественная социальная история», – настаивали ученики Лабрусса Аделин Домар и Франсуа Фюре⁹⁷.

Эрнест Лабрусс старался создать портрет основных классов французского общества в XVII–XIX вв. на основании экономических критериев (уровень доходов, профессиональная деятельность). Такой точке зрения противостоял представитель методической школы Ролан Му-нье, настаивая, что неправомерно говорить о классах применительно к французскому обществу XVII – XVIII вв.: это были группы (или сословия), различающиеся в зависимости от своих социальных функций и престижа (т. е. оценки социального статуса, главным в которой было понятие «достоинства» или «чести»). При наличии разногласий общим было то, что оппоненты оперировали «готовыми» категориями («буржуазия», «дворянство») и исходили из того, что описываемые ими социальные единицы (классы или сословия) существовали реально, а все общество можно и должно структурировать, «разложив по полочкам» на основании критериев социальной стратификации. Среди последних назывались богатство, доходы, происхождение, функции, профессия, семейные связи, власть, стиль жизни, честь/достоинство. Признание множественности критериев стратификации вело к идее многомерной социальной структуры. Однако, как считает Н. Е. Копосов, реализовать ее на тот момент не позволила существовавшая инерция научной задачи создания единой «синтетической социальной иерархии», сводимой либо к классам, либо к сословиям, что и привело распаду классической социальной истории.

Французская историография признает, что этот подход – классическая социальная история – привнес много знаний⁹⁸. Однако в эпистемологических дискуссиях 1970-х гг., времени, которое Франсуа Бедарида назвал временем пробуждения спящей принцессы-истории⁹⁹, уже звучит разочарование в постулатах прежней истории. В преломлении темы стратификации общества важными представляются два критических посыла, которые стали развиваться в рамках новой социальной истории. Они связаны с позицией индивида и синтетическим структурированием общества. Критика гласила, что классическая социальная история не принимала в расчет индивидуальное, изменчивое и иррациональное, отдавая предпочтение истории масс. Индивид не являлся самостоятельным исследовательским предметом. Например, Э. Лабрусс в статье «Как делается Революция?» (1948) отмечал, что революции происходят несмотря на

⁹⁶ См., например: *Mousnier R., Labatut J. P., Durand Y. Problème de la stratification sociale. Deux cahiers de la noblesse pour les États généraux de 1649–1651.* Paris, 1965; *L'histoire sociale. Sources et méthodes // Colloque de l'École Normale Supérieure de Saint-Cloud (15–16 mai 1965).* Paris, 1967; *Niveaux de culture et groupes sociaux // Actes du colloque réuni du 7 au 9 mai 1966 à l'École normale supérieure.* Paris; La Haye, 1967; *Mousnier R. Les concepts d'«orders», d'«estats», de «fidélité» et de «monarchie absolue» en France de la fin du XV-e siècle à la fin du XVIII-e // Revue historique.* 1972. № 502 (avr. – juin). P. 239–312; *Ordres et classes // Colloque d'histoire sociale.* Saint-Cloud 24–25 mai 1967. Paris; La Haye, 1973.

⁹⁷ *Daumard A., Furet F. Méthodes de l'histoire sociale: les archives notariales et la mécanographie // Annales E. S.C., 1959. Vol. 14, № 4. P. 676.*

⁹⁸ См., например: *L'histoire et le métier d'historien en France, 1945–1995 / Sous la dir. F. Bedarida.* Paris, 1995.

⁹⁹ *Bedarida F. La dialectique passé/présent et la pratique historique // L'histoire et le métier d'historien en France, 1945–1995.* P. 79.

революционеров; над историей работают более глубокие силы, считал историк, которые не осознаются людьми. Таким образом, в исследовательской модели классической социальной истории индивиды – это претекст, не акторы. Самое большее, на что мог рассчитывать индивид, это служить в качестве примера, иллюстрации влияния внешних социальных сил. Логика исторического процесса помещалась вне людей, а общество делилось на категории, которые были конструктами классификаторов-историков.

Они производили на свет «синтетические» категории (демографические, экономические, социальные), которые подкреплялись цифровыми данными и представлялись как реально существовавшие однородные группы. Минималистское обращение с индивидом вело к созданию социально-профессиональных классификаций посредством изучения экономических реалий, которые обуславливают менталитет. В качестве примера можно вспомнить попытку Аделин Домар и Франсуа Фюре¹⁰⁰ в 1960-е гг. создать для Франции XVIII–XIX вв. социoproфессиональный кодекс, разделив население «на ограниченное количество категорий, каждая из которых будет характеризоваться относительной социальной гомогенностью»¹⁰¹. Однако в ходе работы выделенных групп оказалось так много, что они нуждались в создании агрегированных порядков. И когда от дробных классификаций нужно было переходить к повествованию, историки отбрасывали ими же сконструированные категории.

Подобное «линейное обобщение», как подчеркивал Бернар Лепти, вело к «подгонке» социальных категорий под первоначальные установки исследования в отношении социальных делений и иерархий и к созданию «организованных» классификаций и реифицированных аналитических категорий, не позволявших увидеть исторический процесс¹⁰². Кроме конструирования объекта исследования, ставилась проблема его интерпретации историком, который, выбирая способы описания предмета исследования, ориентируется на собственный «словарь»¹⁰³. В общем, под сомнение была поставлена способность классической социальной истории учитывать реальность («бедная идея реального», как об этом говорил Мишель Фуко¹⁰⁴).

Одним из первых с критикой социографического подхода выступил в конце 1960-х гг. Жан-Клод Перро¹⁰⁵, призывая к изучению не столько структур, сколько социальных отношений, в которые вступают люди. Тогда же Морис Агюлон предложил концепцию социального ключа – основных знаковых моментов, объединяющих группу. В наметившемся повороте французской истории в сторону активной роли в историческом процессе социальных субъектов заметно влияние работ Раймона Будона (который настаивал на объяснении социальных фактов через индивидуума и тот смысл, которым он наделяет свои действия), Алена Турена (который разработал теорию общества как явления, построенного вокруг социального актора и социальных движений) и Пьера Бурдьё (с его основными понятиями агента как основного «действующего лица» общества, габитуса как принципа действия агентов, поля как пространства фундаментальной социальной борьбы, капитала как ресурса в социальном поле и символического насилия как главного механизма утверждения господства).

¹⁰⁰ Daumard A., Furet F. Structures et relations sociales à Paris au milieu du XVIIIème siècle. Paris, 1961.

¹⁰¹ Daumard A. Structure sociales et classement socio-professionnel: L'apport des archives notariales aux XVIII-e et XIX-e siècles // Revue historique. 1962. Vol. 227. P. 152.

¹⁰² Лепти Б. Общество как единое целое. О трех формах анализа социальной целостности // Одиссей. Человек в истории. М., 1996. С. 148–164.

¹⁰³ Среди критиков выделялись голоса Раймона Арона и Мишеля Фуко, стремившегося доказать, что историки наивно полагают самоочевидным существование объективных социальных структур и понятий.

¹⁰⁴ Именно на философские дебаты стали ориентироваться историки, почти на 20 лет, до конца 1980-х гг., ослабив связь с социологией. См.: Трубникова Н. В. Указ соч. С. 194.

¹⁰⁵ Perrot J.-C. Rapports sociaux et villes au XVIII-e siècle // Annales E. S.C. 1968. Vol. 23, № 2. P. 241–267.

В начале 1990-х гг., времени всеобщего увлечения французских историков социологическими концептами и методами, почитаемые историками представители «новой социологии» Люк Болтански и Лоран Тевено отказываются рассматривать классы или социальные группы, созданные на основе официальной статистики «классической» социологии, в пользу анализа людей в «ситуации», т. е. человеческих действий, в которых акторы, включенные в межличностный обмен, мобилизуют свои возможности для оправдания своих позиций¹⁰⁶. Исходя из такого понимания, различные социальные группировки предстают как относительно временные конструкции, как результат активного соглашения и применения мобилизационных ресурсов акторов. При таком подходе можно увидеть, как процесс признания социальными субъектами значимости общественно-политической реальности организует практики, социальные институты и конкретные конфигурации межличностных отношений.

Окончательный разрыв с дюркгеймовской социологией и прежней социальной историей ознаменовал вышедший в 1995 г. под редакцией Бернара Лепти коллективный труд с подзаголовком «Другая социальная история»¹⁰⁷. Авторы книги призывали при анализе общества концентрироваться на личности, на понятиях «взаимодействия» и «социальных соглашений», на «вопросах идентичности и социальных связей». Тогда же Франсуа Досс констатировал появление новой исторической парадигмы, одной из центральных идей которой является возвращение субъекта¹⁰⁸.

Вопреки предшествующим взглядам основные социальные категории – классы, группы, общности или общества – теперь не представляются априори заданными. Это относится и к принадлежности индивида к какому-либо статусу как точно фиксированному месту в социальной иерархии. «Люди не находятся в социальных категориях, как ручки в коробках», – говорил об этом Б. Лепти¹⁰⁹. Положение индивида или группы – это результат многочисленных договоренностей, обусловленных стечением различных обстоятельств (или «конфигураций», пользуясь термином Н. Элиаса). Понятия «сословие» или «социальная группа» продолжают использоваться, но как категории социальной практики, которую актор пытается учитывать в своей повседневной жизни.

Таким образом, исследовательский интерес новой социальной истории Франции сместился на действия людей (парадигма *l'action*). Индивид отныне предстает как актор, а не как пассивный приемник структурного давления долговременно существующих социальных институтов. При этом новая социальная история не утверждает, что люди произвольно делают историю так, как они хотят, нет, история – это равнодействующая сила. Принятие в расчет действия и индивидуального измерения не отрицает социальную историю в дюркгеймовском понимании социального. Но предполагаются другие ее истоки, идущие от самого человека. В этом смысле для приверженцев новой социальной истории Франции близка «формула» писателя Жоржа Бернаноса: «Мы не подвергаемся будущему, мы его делаем»¹¹⁰.

На рубеже XX–XXI вв. французские историки оказывают все меньшее доверие глобальным объяснительным теориям (функционализм, структурализм, марксизм, социальный детерминизм и пр.). Отказ от больших макроисследовательских подходов стал еще более очевиден в новом тысячелетии, характерной тенденцией которого, как отмечал Франсуа Досс, стала гуманизация наук о человеке¹¹¹. Историки отталкиваются от понимания, что различные уровни социального опыта сосуществуют одновременно и переплетаются друг с другом. Формы опы-

¹⁰⁶ Boltanski L. *LA'mour et la Justice comme competences. Trois essais de sociologie de l'action*. Paris, 1990; Boltanski L., Thevenot L. *De la justification. Les economies de la grandeur*. Paris, 1991.

¹⁰⁷ Lepetit B. *Les formes de l'expérience: Une autre histoire sociale*. Paris, 1995.

¹⁰⁸ Dosse F. *L'Empire du sens. L'Humanisation des sciences humaines*. Paris, 1995.

¹⁰⁹ Lepetit B. *Les formes de l'expérience*. P. 13.

¹¹⁰ Bernanos G. *La liberté, pour quoi faire?* Paris, 1995.

¹¹¹ Dosse F. *L'Empire du sens: L'Humanisation des sciences humaines*. P. 12.

тов не иерархизированы, нет маленькой истории маленького человека или большой истории правящих кругов, но есть история их взаимодействия. Каждый актер живет в нескольких мирах социального опыта – класс, гендер, профессия, ассоциация, семья, которые не являются взаимоисключающими. Действительность формируется в конкретной ситуации социального взаимодействия между отдельными людьми либо между группами. Взаимоотношения, сходства, общительность, дружба, ассоциации – все эти объекты относятся к индивиду и индивидуальному, но в то же время они соответствуют нормам, коллективным договорам. Индивид не является изобретателем этих норм, он их выбирает, изменяет, приспосабливается к ним в пределах коллективных правил. Отсюда концепт «рациональности – ограниченности»: индивид не определен социальным, он ограничен социальным. «Ограниченная рациональность» (понятие, пришедшее от социологов Лорана Тевено и Люка Болтански) – это и есть пространство действия индивида.

Поле структур кажется уже устаревшим. Для новой социальной истории Франции одним из главных слов стало *interaction* – взаимодействие; общество воспринимается как сложная система интеракций. Структуры превратились в подвижные практики, которые обмениваются своими составляющими в пространстве и во времени. Современного французского историка занимает вопрос: что организует социальную группу? Каковы нормы и мотивы, интересы и ценности, которые вынуждают людей быть вместе или двигаться в другие группы? Что акторы хотят и могут сделать? Как передается логика совместных действий? Как люди сами определяют свою и чужие социальные позиции?

Социальная группа предстает как сложный институт, состоящий из множества самоорганизующихся субъектов, которые в процессе согласий и разногласий создают этот институт как унию (возможно, временную), основанную на самосознании, по отношению к другим. Такое понимание прослеживается, например, в работе Жан-Франсуа Сири-нелли «История правых во Франции»¹¹². Чтобы это понять, важен учет персональных стратегий, языковых практик и культурных кодов. Вслед за социологами историки стали оперировать понятием «сети» как более гибкого образования, позволяющего изучать объединения людей и их взаимосвязи и взаимодействия, в отличие от жесткого «каркаса» социальных структур.

Изучение сетей потребовало изменения масштаба. От изучения региона историки перешли к изучению отдельной деревни, историки религии, занимавшиеся исследованием епархии, обратились к исследованию прихода и т. д. Для французских историков в этой области ориентирами служили исследовательские практики итальянской микро-истории – работы Карло Гинзбурга, Эдоардо Гренди, Джованни Леви, которые сосредоточили внимание на индивидуальных стратегиях, интерактивности, на сложности целей и характере коллективных репрезентаций. Отказавшись от изучения классов, французские историки обратились к разным по своей природе группам или категориям. Изучались группы, складывающиеся стихийно или в результате действия социального законодательства; группы, которые воплощали собой господство или маргинальность. В качестве примеров можно привести работы о бродягах (Морис Агюлон), безработных (Кристиан Топалов), евреях (Жан Эстеб), ветеранах войн (Антуан Про), мигрантах и иммигрантах (Жерар Нуарель и Нэнси Грин) и др.¹¹³ В новом качестве были реабилитированы социопрофессиональные категории: не как стремление категоризировать все общество на основании профессиональной принадлежности индивида, но как истории отдельных профессий с размышлениями о способах формирования различных социальных идентичностей. Авторы обратились к историям нотариусов и прокуроров, военнослужащих, врачей,

¹¹² *Sirinelli J.-F.* L'Histoire des droites en France: 3 vol. Paris, 1992.

¹¹³ *Les Anciens Combattants, 1914–1940.* Paris, 1977; *Agulhon M.* Histoire vagabonde: 3 vol. Paris, 1988–1996; *Topalov C.* Naissance du chômeur, 1880–1910. Paris, 1994; *Estèbe J.* Les juifs à Toulouse et en Midi toulousain au temps de Vichy. Toulouse, 1996; *Noiriel G.* État, nation et immigration. Vers une histoire du pouvoir. Paris; Berlin, 2001; *Green N.* Repenser les migrations. Paris, 2002; *Nassiet M.* Noblesse et pauvreté. La petite noblesse en Bretagne, XV-e – XVIII-e siècles. Rennes, 2012.

инженеров (Андре Грелон), интеллектуалов (Жан-Франсуа Сиринелли)¹¹⁴. Историки обращались к забытым категориям, как, например, история женщин. Мишель Перро в предисловии к книге «Возможна ли история женщин?» (1985)¹¹⁵ подчеркивала, что экономическая и социальная истории, развитию которых дали толчок «Анналы», не учитывали деление полов, и выражала надежду, что новое направление (или изменение парадигмы) в социальных науках будет благоприятствовать написанию истории женщин¹¹⁶.

Изучая индивидуальное в судьбе человека или группы, изучая каждодневную микрореальность большой сущности, исследовательский горизонт перемещается с вопроса «почему?» к вопросу «как?»: как на уровне индивидуального происходит конструирование социального пространства, присвоение и освоение социального места? Это вопрос о социальной идентичности, самоидентификации. Вопросы, которые анимируют современную французскую микроисторию: как понять общество и его структуру через доступ к смыслам, которые социальные акторы сообщают в своих действиях? Выбор индивидуального здесь не считается несовместимым с социальным: следуя нити собственной судьбы (судьбы отдельного человека или группы людей), индивид осваивает множество пространств и сетей социальных отношений, в которые он вписывается. При этом заметен отход от концепта «менталитет» (как чего-то неуловимого, базирующегося в подсознании) в сторону представлений как основы непосредственной человеческой деятельности.

2.2. Социальные категории «класс» и «сословие» в зарубежной историографии: необходимая условность или адекватный инструмент описания исторической реальности?

Общие подходы к изучению социума как системной совокупности организованных групп, структур и индивидов, эволюцию которых (подходов) мы кратко рассмотрели на примере французской историографии, неизбежно подвигали историков к разработке генерализирующих понятий, если можно так сказать, «второго уровня». В их ряду чрезвычайно важное место занимали и занимают вопросы, связанные с поиском адекватного языка описания социальных структур изучаемых обществ, с выработкой критериев, границ и маркеров социальных стратификаций.

Проблема стратификации общества – исследовательское поле, которое предоставляет широкие возможности для различных вариаций на тему структуры социума, критериев социального ранжирования, создания обобщенных и дробных классификаций. Признание «сетевое» устройства общества, к которому на сегодняшний день пришли, разумеется, не только французские историки¹¹⁷, не избавляет от соблазна или перспективы конструирования емких

¹¹⁴ *Grelon A. Les ingenieurs de la crise. Titre et profession entre les deux guerres. Paris, 1986; Sirinelli J.-F., Ory P. Les Intellectuels en France de l'affaire Dreyfus à nos jours. Paris, 1986; Dosse F. La marche des idées. Histoire des intellectuels – histoire intellectuelle. Paris, 2003; Dolan C. Les procureurs du Midi sous l'Ancien Régime. Rennes, 2012; Perez S. Histoire des médecins. Artisans et artistes de la santé de l'Antiquité à nos jours. Paris, 2015.*

¹¹⁵ *Une histoire des femmes est-elle possible? / Sous la dir. de M. Perrot. Marseille; Paris, 1984.*

¹¹⁶ *Поиски в этом направлении прослеживаются в изданиях: Histoire des femmes en Occident: 5 vol. / Sous la dir. de G. Duby et M. Perrot. Paris, 1991–1992; Histoire des jeunes en Occident: 2 vol. / Sous la dir. de G. Levi et J.-C. Schmitt. Paris, 1996; Thébaud F. Écrire l'histoire des femmes et du genre. Paris, 1998; Ripa Y. Les femmes en France, 1880 à nos jours. Paris, 2007; Martin J.-C. La Révolte brisée. Femmes dans la Révolution et l'Empire. Paris, 2008.*

¹¹⁷ Так, например, в острой полемике с так называемой «социально-исторической наукой» (Г.-У. Велер, Ю. Кокка) и под влиянием французских исследователей круга «Анналов» и трудов Н. Элиаса на рубеже 1970–1980-х гг. в Германии стало формироваться новое направление, которое вполне можно рассматривать как результат переосмысления социальной истории в русле культурологических и историко-антропологических подходов, делающих ставку на человека-индивида как актора социальных интеракций и субъекта сетевых, а не жестко иерархизированных социальных моделей. Речь идет о хорошо известном сегодня направлении – «истории повседневности» (Alltagsgeschichte), или «истории снизу» (Geschichte von unten). См.: *Оболенская С. В. «История повседневности» в современной историографии ФРГ // Одиссей. Человек в истории / гл. ред. А. Я. Гуреев*

социальных категорий. История гуманитарного знания раз за разом услужливо подсказывает: «Не надо ломиться в открытую дверь; такие категории давно существуют, их имена: классы и сословия». В самом деле, какие бы манифесты ни писались социологами и социальными историками, эта пара не торопится покинуть обжитое пространство социального дискурса и, видимо, имеет на то основания. Как складываются отношения современной историографии с этими понятиями и почему они демонстрируют такую удивительную живучесть? Ответы на эти вопросы требуют обращения к новейшим исследовательским практикам и выявлению той гаммы коннотаций, которая сопровождает понятия «класс» и «сословие».

Понятие «класс», оказавшееся явно не в чести (и по понятным причинам) у ряда сегодняшних российских историков, вполне активно используется в трудах западных специалистов. В то время как многие историки сосредоточили свои эмпирические исследования вокруг актора, его специфических траекторий, личных стратегий и опыта мобильности, социологи возвращались к понятию «социальный класс». В качестве примера можно привести коллективные труды, вышедшие в середине 2000-х гг., – «Что остается от социальных классов?» или «Возвращение социальных классов: неравенство, господство, конфликты» (переиздан с некоторыми дополнениями в 2015 г.)¹¹⁸. Редакторы первой из перечисленных работ Жан-Ноэль Шопар и Клод Мартен называют ситуацию отхода от классового анализа «социологической амнезией» и настаивают, что рано говорить о конце классов, о несостоятельности применения этого термина к изучению общества, но необходимо изменение рамок и инструментов анализа. Нужно отойти от идеи противостояния между работодателем и рабочим классом как центральной и распространить классовый анализ и на другие страты. Авторы второй работы (под редакцией Поля Буффартика) придерживаются позиции, что понятия «класс» и «классовые отношения», «класс в себе» и «класс для себя» оказываются довольно плодотворными, несмотря на «дисквалификацию» марксизма. Естественно, работы социологов направлены на современное общество. Историки не говорят столь открыто о ценности классового анализа для исторических исследований, но и не избегают этого понятия в своих исследованиях.

Если обратиться к историографии по социальной истории Западной Европы, можно увидеть достаточно разнообразное употребление концепта «класс» и придание ему сложного глубокого значения. Так, британский исследователь П. Джойс, изучая класс рабочих промышленных районов Северной Англии в XIX в., подчеркивает, что его интересуют не столько экономические аспекты, сколько политические и художественные представления и репрезентации социальных установок. По его мнению, класс – это сложный социальный конструкт, создаваемый различными историческими акторами по-разному. П. Джойс указывает на необходимость изучения «классового языка», который проявляется, в частности, в художественных произведениях, а также подчеркивает важность проблем самоидентификации, на которую влияли политика, искусство, религия¹¹⁹.

Свою актуальность термин не теряет и в контексте изучения так называемого «среднего класса» – теме, традиционной для исследований западноевропейской социальной истории. Концептуальными представляются наблюдения Дж. Сиды в его исследовании о природе среднего класса в Англии конца XVIII – начала XIX в. В первую очередь он ставит вопрос о неоднозначности самого понятия «средний класс», прослеживая историю его употребления. Одним из главных тезисов автора является вывод о неоднородности той социальной страты, которую

вич. М., 1990. С. 182–198; *Зидер П.* Что такое социальная история? Разрывы и преемственность в освоении «социального» // THESIS. 1993. Вып. 1. С. 163–181; *Людке А.* «История повседневности» в Германии после 1989 года // Казус. Индивидуальное и уникальное в истории / под ред. Ю. Л. Бессмертного, М. А. Бойцова. М., 1999. Вып. 2. С. 117–126.

¹¹⁸ *Que reste-t-il des classes sociales / Sous la dir. de J.-N. Chopart et C. Martin.* Rennes, 2004; *Le retour des classes sociales: Inégalités, dominations, conflits / Sous la dir. de P. Bouffartigue.* Paris, 2004.

¹¹⁹ *Joys P.* A People and a Class: Industrial Workers and Social the Order in Nineteenth-Century England // *Social Orders and Social Classes in Europe since 1500: Studies in Social Stratification / ed. by M. L. Bush.* L.; N. Y., 1992. P. 199–217.

принято считать «средним классом». Во-первых, историк указывает на существовавшие различия между его представителями в Северной и Южной Англии, а также на особую ситуацию, характерную для положения среднего класса в Лондоне. Во-вторых, Дж. Сид отмечает разные уровни внутри среднего класса: от крупных промышленников до мелких торговцев, причем границы между ними были очень подвижны и зависели от степени сотрудничества, культурной и политической кооперации. Неоднозначен и вопрос о групповой идентичности. Автор указывает на сложность идентификации представителей среднего класса в источниках, поскольку один человек мог быть одновременно адвокатом, промышленником и землевладельцем (что показано на конкретном примере). Говоря о маркерах принадлежности к среднему классу, Дж. Сид называет доход, реализованный в потреблении. К 1830 г. укрепилось единое мнение, что 300 фунтов стерлингов – это минимальный доход для поддержания уровня жизни «среднего класса»¹²⁰.

Вопрос об социальной идентичности и маркерах стратификации представлен и в исследовании Г. Камена, посвященном европейскому обществу раннего Нового времени. В предисловии заявлено, что центральной темой работы является изучение изменений в европейском обществе в течение двухвекового периода – с конца XV в. до первых десятилетий XVIII в. Однако в силу того, что в реальности «европейского общества» не существовало, данная монография рассматривает скорее некоторые общие черты, наблюдаемые в ряде разных контекстов внутри европейского пространства. Г. Камен концентрирует внимание на двух основных аспектах: базовых социальных структурах Европы в исследуемый период и изменениях в социальных отношениях. В качестве «базовых идентичностей» историк выделяет сельскую общину и городское сообщество. Соответственно такому разделению самоидентификация индивидов выражалась через принадлежность к общине или к городскому сообществу, а ее важными компонентами считались понятия «соседства» и «родного города»¹²¹. Обращаясь к характеристике элитных групп общества, автор разделяет «правлящие элиты» и «средние элиты» (*middle elite*) и акцентирует внимание на патрон-клиентских отношениях в качестве отличительной черты, присущей статусному рангу правящей элиты. К средним элитам Г. Камен относит городские и сельские элиты. У их представителей не было особой этики, как у аристократии, но они обладали ясной ценностной моделью, которая определяла их поведение и устремления. С этой точки зрения вместе их связывали общие ценности и общие контексты, например, владение собственностью или принадлежность к определенной профессии. Г. Камен считает, что, несмотря на то, что средний класс сложно оценить с точки зрения материального положения и статуса, существуют твердые основания для определения его идентичности через культуру повседневности, образ жизни. Именно поэтому материальный комфорт стал внешним выражением твердой социальной позиции среднего класса¹²².

Сходную картину можно наблюдать и в работах западных историков, посвященных изучению социальной истории Российской империи. Та же тема «поиска» среднего класса в России, выявления причин его отсутствия или слабости и упадка неизбежно приводит авторов к оперированию понятием «класс» как социальной категорией.

Так, например, Чарльз Тимберлейк, рассуждая о средних классах в поздней царской России, утверждает, что к концу XIX в. процессы индустриализации и соответствующего разделения труда породили формирование определенных групп среднего класса, выполнявших те же функции, что их аналоги в Западной Европе. Однако государственная политика, поощряя вертикальную социальную мобильность, препятствовала горизонтальной общественной

¹²⁰ *Seed J.* From “Middling Sort” to Middle Class in Late Eighteenth- and Early Nineteenth-Century England // *Social Orders and Social Classes in Europe...* P. 120–124, 130–134.

¹²¹ *Camén H.* *Early Modern European Society.* L.; N. Y., 2000. P. 9–14.

¹²² *Ibid.* С. 73–74, 97, 112.

интеграции. Правительство, по мнению исследователя, не желало допускать ни географической интеграции, ни интеграции между разрозненными группами внутри одной социальной страты. Законодательство препятствовало созданию автономных профессиональных и торгово-промышленных организаций. Вместо того, чтобы строить новые социальные и политические институты, сегменты русского среднего класса вместе с царской бюрократией принимали участие в модифицировании системы сословий, удовлетворявшей самодержавие, чтобы подготовить себе ниши в ней. В результате этого создавался средний класс, облаченный в костюм дворянина. Чертами русского среднего класса были, во-первых, разрозненность, во-вторых, «сборный» характер – в данный класс входили представители разных сословий. В конечном итоге, когда самосознание среднего класса еще только зарождалось, большевистская революция смела институты и ассоциации, в которых он начал появляться¹²³.

Исследованию профессий и профессионализации в России как социального явления посвящен коллективный труд, в самом названии которого звучит мысль о «потерянном» среднем классе в России: «Russia's Missing Middle Class: the Professions in Russian History». Редактор и один из авторов работы Г. Бальцер отмечает, что в пореформенной России и Советском Союзе профессиональные специалисты являлись крупнейшим компонентом зарождавшегося среднего класса. До 1917 г. число специалистов стремительно росло, и они играли важную роль в политическом процессе, однако социальная структура, основанная на сословном делении, и расколы, пронизывавшие идентичности специалистов, препятствовали их согласованной политической активности. Проблемное поле данного исследования охватывало историю нескольких профессиональных групп: инженеров, учителей и профессоров, юристов и медиков. При этом авторы статей постоянно сталкиваются с тем, о чем шла речь в упомянутой статье Ч. Тимберлейка, а именно с множеством свидетельств того, как российское правительство отказывалось санкционировать национальные организации профессионалов (специалистов) или не разрешало проведение конгрессов и других встреч¹²⁴.

Оперирование термином «класс» применительно к различным аспектам российской истории можно легко обнаружить и в других исследованиях западных специалистов. Социолог М. Баррэдж, строящий свое исследование на материалах по истории обществ Франции, Англии, России и США, в качестве стратификационной единицы использует понятие «класс» применительно к различным российским социальным категориям, в том числе дворянству и крестьянству. Он подчеркивает высокую степень стремления государства контролировать и управлять стратификацией общества царской России. Особое внимание М. Баррэдж уделяет чиновничеству, пытаясь понять, являлось ли оно особым классом, сословием или чем-то еще (приводя точки зрения на этот счет Марка Раева, Ричарда Пайпса и др.)¹²⁵. Э. Виртшафтер в некоторых случаях использует термин «класс» в своей монографии «Social identity in imperial Russia» (в частности, в главе «Правящие классы и служилые элиты»)¹²⁶.

Что-то подобное можно наблюдать в работах, посвященных советской истории. Автор фундаментальной монографии «Неудобный класс: Политическая социология крестьянства в развивающемся обществе (1910–1925)» Теодор Шанин вышел за рамки марксистской концепции социальной стратификации. Он черпал идейные основы своих теоретических и статистических изысканий в трудах М. Вебера, Й. Шумпетера и англо-американских социологов середины XX в. Но базу его методологии составили работы российских социологов первой трети XX в., заложивших основы «крестьяноведения». Опираясь на труды А. В. Чаянова и А. Н. Челинцева, Т. Шанин исследовал социальную поляризацию в аспекте «циклической мобильно-

¹²³ Timberlake C. E. The Middle Classes in Late Tsarist Russia // Social Orders and Social Classes in Europe... P. 86–113.

¹²⁴ Russia's Missing Middle Class: the Professions in Russian History / ed. by Harley Balzer. N. Y., 1996. P. 24.

¹²⁵ Barrage M. A People and a Class: Industrial Workers and Social the Order in Nineteenth-century England // Social Orders and Social Classes in Europe... P. 199–217.

¹²⁶ Wirtschafter E. K. Social Identity in Imperial Russia. Dekalb, 1997.

сти», показав, что социальная стратификация в советской деревне в первое десятилетие после революции основывалась на комплексе факторов, к числу которых он относил возрастные и половые характеристики крестьянской семьи¹²⁷.

Начиная с 1980-х гг. историки демонстрируют более гибкий подход к проблеме классов. Фрагментарные данные о социальной структуре дореволюционной России приведены у Шейлы Фицпатрик, констатировавшей «шизоидный» (расколотый) характер русского общества начала XX в. Исследовательница обратила внимание на самоидентификацию жителей Петербурга, относивших себя к социальным группам «потомственных дворян», «купцов 1-й гильдии», «почетных граждан» или «государственных советников». Преобладающей, однако, оказывалась профессиональная или профессионально-сословная самоидентификация, когда респонденты характеризовали себя как «женского врача» или «дворянина, дантиста»¹²⁸.

Александр Сампф, автор одной из последних книг по истории Советского Союза («От Ленина до Гагарина»), написанной в русле социальной истории, подчеркивает, что он фокусирует анализ не на жестких классах, а на социальных группах: на их образовании, узаконивании, на признании другими группами, на процессах идентификации¹²⁹. Для анализа каждой категории он предлагает использовать множественные точки зрения и различные тематические подходы. При этом понятие «класс» в одном случае является синонимом «социального слоя», в другом – трактуется в русле советской официальной терминологии, в третьем – слово заключается в кавычки, когда автор желает подчеркнуть искусственность созданной большевиками категории. Другой автор – Жан-Поль Депретто, будучи историком советского рабочего класса¹³⁰, считает, что без этого концепта специфическая природа социальной стратификации в СССР не может быть понята. В то же время для анализа социальной стратификации он предлагает использовать и термин «социальный статус» в веберовском его понимании как места в иерархии престижа¹³¹, подчеркивая решающую роль государства в СССР в присвоении людям такого места на шкале статусов и в создании статусных групп¹³².

Все сказанное, с одной стороны, отчетливо дает понять, что в новейшей историографии происходит «размывание» строгого категориального значения понятия класса, которое ему имплицитно стремились придать К Маркс, М. Вебер и вполне отчетливо – В. И. Ленин, наделяя его «аналитическим» смыслом и акцентируя внимание на его экономической (социально-экономической) природе. С другой стороны, при всех оговорках, у исследователей остается отношение к классу как к чему-то «реально существующему» и имеющему познавательную/объяснительную ценность.

Причины такого отношения к термину убедительно, на наш взгляд, показал британский историк Уильям Редди в статье с характерным названием «Концепция класса»¹³³. Констатируя, что «понятие класса никогда не использовалось историками с большой точностью», что большинство историков признают невозможность «точно определить границы класса... не нарушая сложности и тонкости социальных отношений», а также то, что в этом смысле понятие класса «не отличается от других элементов общей лексики социальных характеристик», автор в то же

¹²⁷ Shanin T. *The Awkward Class: Political Sociology of Peasantry in Developing Society: Russia 1910–1925*. Oxford, 1972. P. 45–47, 66–76, 137–141.

¹²⁸ Fitzpatrick Sh. *Russian Revolution*. Oxford, 1982. P. 16.

¹²⁹ Sumpf A. *De Lénine à Gagarine: Une histoire sociale de l'Union soviétique*. Paris, 2013. P. 12–13.

¹³⁰ Depretto J.-P. *Les Ouvriers en URSS, 1928–1941*. Paris, 1997; *Pour une histoire sociale du régime soviétique (1918–1936)*. Paris, 2001; *Pouvoirs et société en Union soviétique / Sous la dir. de J.-P. Depretto*. Paris, 2002.

¹³¹ Weber M. *Economie et société*. Paris, 1995. P. 395–396.

¹³² Depretto J.-P. *Stratification without Class // Kritika*. 2007. Vol. 8, № 2. P. 375–388.

¹³³ Reddy W. M. *The Concept of Class // Social Orders and Social Classes in Europe...* P. 12–25.

время признает, что сама попытка поднять вопрос о том, «что понятие “класс” себя изжило», может показаться безумием, «попыткой ударить палкой ветер»¹³⁴.

По мнению У. Редди, это происходит именно в силу нечеткости и вариативности использования термина и парадоксально связанным с этим удобством его употребления: «Мы используем слово класс и производные от него термины (например, класс крестьян, рабочий класс, класс буржуазии... и так далее), поскольку они предлагают нам множество ассоциаций <...> и это играет важную роль в построении *удобно упрощенной парадигмы долгосрочных социальных изменений*»¹³⁵.

То, что понятие «класс» следует заменить на «что-то лучшее», было ясно некоторым историкам уже в 1950–1980-е гг., поясняет Редди, ссылаясь на работы Ж. Х. Гекстера и Дж. Ч. Кларка. По мнению автора, в первую очередь следует отказаться от восприятия классов как неких фиксированных «групп людей». Понятие класса обнаруживает удивительную подвижность, стоит лишь попытаться определить с его помощью социальный статус тех или иных групп или индивидов. Вместе с тем классы, если под ними понимать некие определенные общности, при ближайшем рассмотрении «рассыпаются» на множество составляющих, демонстрируя внутреннюю рыхлость и многослойность. В этом отношении ни российское крестьянство в 1860 г., ни лондонские ремесленники в 1820 г., ни французская «буржуазия», провозгласившая в 1783 г. Декларацию прав человека и гражданина (и, по мнению Уильяма Дойла, мало отличавшаяся от «консервативного дворянства» по уровню и формам богатства, по способам управлению им, образу жизни и набору привилегий), не представляли единых классов¹³⁶.

Но классы, как считает У. Редди, можно воспринимать в другом ключе: как выражение неких отношений; классы проявляют себя только тогда, когда люди вступают в жизненно важные отношения друг с другом, например, производя и распределяя ресурсы и контролируя применение принуждения. Собственно, признает автор, такое понимание классов возвращает нас к его марксистской трактовке (и ленинской – добавим от себя: классы проявляются через отношения к средствам производства, ролям в общественной организации труда и способам распределения и присвоения общественного богатства).

Правда, в ряде случаев и такое понимание классов мало что дает историкам. Что случается с классом, когда меняется отношение к способам организации труда и способам распределения и присвоения его результатов? «Являлись ли, например, прусские юнкеры одним и тем же классом до и после освобождения крестьян от крепостной зависимости?» – задается вопросом У. Редди вслед за Ханной Шисслер, автором монографии «Прусское аграрное общество в переходный период...», изданной в Геттингене в 1978 г. К какому классу следует относить ланкаширских владельцев мануфактур XIX в., многие из которых, как показал Патрик Джойс, происходили из джентри: к дворянству или к буржуазии? Какова была классовая принадлежность лидеров французского рабочего движения 1830–1840-х гг., рабочих, занимавшихся литературным трудом в качестве журналистов и писателей, а иногда и владевших землей? Они, как продемонстрировал Жак Рансиэр, «одной ногой» стояли в стане рабочих, а другой – в стане мелкой буржуазии. Мелкие фермеры в той же Франции в XVIII в., герои исследования Олвена Хафтона, по несколько месяцев в году проводившие в качестве наемных рабочих в более богатых аграрных хозяйствах, – кем были они: крестьянами или рабочими? Такие примеры (которые, несомненно, вызовут множество ассоциаций у специалистов по социальной истории России) дают ясно понять, что и через «отношения к средствам производства» понятие класса не становится более надежным инструментом анализа социальных стратификаций. Сложности, продолжает Редди, связаны и с тем, что классовые отношения

¹³⁴ Reddy W. M. The Concept of Class. P. 12.

¹³⁵ Ibid. P. 12–13.

¹³⁶ Ibid. P. 20.

иногда трудно отделить от других видов отношений, например, гендерных. Так, ссылаясь на исследования Джона Фостера, историк приводит пример из практики ланкаширских прядильщиков, использовавших в конце XIX в. своих детей в роли связывальщиков. Это распределение производственных ролей на основе гендерной иерархии (что само по себе не уникально) возвело прядильщиков в ранг отраслевой рабочей «аристократии»¹³⁷.

В качестве парадоксального примера, демонстрирующего категориальную беспомощность понятия «класс» применительно к конкретно-историческим реалиям, У. Редди приводит результаты трех исследований, проведенных в разное время его коллегами, изучавшими характер социальной природы чартизма, – Эдвардом Томпсоном, уже упоминавшимся Джоном Фостером и Гаретом Стедманом-Джонсом¹³⁸. Как сообщает Редди, Э. Томпсон, выстроивший детальнейшее исследование бесчисленного количества разрозненных отношений между разными категориями рабочих и владельцами капитала, мало что смог обнаружить, когда дело дошло до восприятия их *общих* интересов, их *общего классового сознания*. Дж. Фостер, который пошел от обратного и в поисках общего классового сознания (в строгом ленинском определении – пишет автор), последовательно отсекая от «настоящих» рабочих всяких мелких собственников, вышедших из рабочей среды, попытался выявить подлинных носителей этого сознания (т. е. собственно «рабочий класс»), обнаружил, что таковых оказалось крайне мало, буквально горстка, да и те достигли этого сознания лишь на краткий момент. Наконец, Г. Стедман-Джонс вовсе отказался видеть в чартизме движение рабочего класса. И в этом он, по мнению У. Редди, непостижимым образом оказался близок Дж. Фостеру, при всем критическом настрое по отношению к последнему: как и у Фостера, у Стедмана-Джонса есть «строгое и требовательное понимание того, на что *должно быть похожим* сознание рабочего класса», просто он отказывает в нем чартистам, объясняя движение стечением политических обстоятельств¹³⁹.

Казалось бы, все сказанное должно окончательно дискредитировать понятие «класс» как безнадежно устаревший и непригодный инструмент в арсенале социальной истории. Но сам У. Редди не столь однозначен в своих выводах. Решительно отказываясь понимать под классом «фракцию», статичную «группу людей» (а равно использовать производные от такого понимания класса: рабочий класс, пролетариат, мелкая буржуазия, дворянство и пр.), он призывает не сдавать в утиль понятие класса как отношения. Ведь рождаясь через определенные отношения, класс, по мнению автора, порождает сообщество, а сообщество, достигая определенного масштаба и сложности, в свою очередь, порождает классовые отношения внутри себя¹⁴⁰.

Если понятие класса как генерализирующей единицы социальной стратификации и социально-исторического анализа потеряло свою четкость и трактуется современными исследователями предельно широко и вариативно, то другая единица, активно используемая при анализе социальной ситуации обществ Средневековья – Нового времени, обладает гораздо большей определенностью. Речь идет о сословии, категории, юридически обусловленной и в силу этого обладающей более четкими очертаниями. Однако и эта четкость оказывается призрачной при соприкосновении с эмпирической реальностью, во всяком случае, когда речь заходит о ее применимости к российскому материалу.

Использование определенного понятийного аппарата предполагает принятие той смысловой нагрузки, которую несут взятые за основу концепты. Однако, как показывает проведенный анализ литературы, привычные определения и термины применяются исследователями в разных значениях, а иногда и вовсе в качестве достаточно нейтрального инструментария, не

¹³⁷ Reddy W. M. The Concept of Class. P. 16–17, 19.

¹³⁸ Thompson E. P. The Making of the English Working Class. L., 1963; Foster J. Class Struggle and the Industrial Revolution. L., 1974; Stedman-Jones G. Language of Class: Studies in English Working-Class History, 1832–1982. Cambridge, 1983.

¹³⁹ Reddy W. The Concept of Class. P. 22–23.

¹⁴⁰ Эта идея, проходящая через добрую половину статьи, наиболее фокусировано формулируется в нескольких моментах: Reddy W. Op. cit. P. 18, 20–21.

несущего в себе глубинной смысловой окраски, что зачастую исходит из самого происхождения понятий.

2.3. Россия и Европа: проблема сопоставления социальных ландшафтов

Прежде всего, дискуссионной оказывается проблема сословий в *России* и обоснованности определения российского общества как сословного. Вопрос заключается в том, чем отличались российские сословия от западноевропейских и можно ли принимать систему социальной стратификации на основе сословного деления в качестве основной и всеобъемлющей при изучении российского общества? В этом отношении показательна статья Грегори Фриза о сословной парадигме и социальной истории России, которая в 1986 г. была опубликована в «*American Historical Review*», а в 2000 г. издана на русском языке в рамках антологии «Американская русистика»¹⁴¹. Г. Фриз начинает свое исследование с того, что рассматривает историю понятия «сословие», а также обращает внимание на категории «чин», «звание», «состояние» и «класс».

Поскольку понятие «класс» также является одним из инструментов построения стратификационных схем в работах западных исследователей (о чем говорилось выше), важно отметить наблюдение Г. Фриза о том, что изначально в России в 1760-е гг. понятие «класс» употреблялось в значении «категория», в частности, случаи его использования зафиксированы в ходе работы Уложенной комиссии Екатерины I. Наиболее же распространенным термином в последней четверти XVIII в. и на протяжении XIX в. являлся термин «состояние».

Проследив эволюцию понятия «сословие», Г. Фриз приходит к нескольким выводам. Во-первых, использование этого концепта (по крайней мере, без каких-либо уточнений) в отношении периода до начала XIX в. является анахронизмом. Лишь в XIX в. понятие «сословие» стало употребляться для обозначения «корпоративной группы, обладающей официально закрепленными в законе правами и обязанностями», а также оно имело такие коннотации, как «правительственный орган» или «учреждение». Конечно, говорит автор, запоздалое появление понятия не означает, что его нельзя применять при изучении предшествующего исторического периода, ведь общественное явление может возникнуть раньше, чем термин для его описания. Однако появление термина «сословие» не только свидетельствовало о восприятии современниками нового порядка, но и устанавливало определенные барьеры, отделявшие одну социальную группу от другой. Новый термин, таким образом, формировал и структурировал важную часть социальной реальности, поскольку к категориям родства, рода занятий и правового статуса введение понятия «сословие» добавляло корпоративность и особую культуру. Изменения в терминологии позволяют предложить иную концепцию развития социальной структуры дореформенной России. Понимание и осмысление социальных категорий существенно изменилось с 1775 по 1850 г. – от личной идентификации (чин) к групповой (сословие), от строго юридических определений до масштаба касты и культуры. В первой половине XIX в. наблюдался процесс формирования сословий, сословная система обретала зрелость, а вовсе не приходила в упадок и не распадалась. Г. Фриз заявляет, что его концепция представляет собой радикальный разрыв с традиционной периодизацией социальной истории России, так как он датирует ее важнейший переломный этап не 1700-ми, а 1800-ми годами.

Г. Фриз отмечает наличие двух традиционных утверждений в историографии: о существовании в России четырехсословной парадигмы и о главенствующей роли государства в создании «искусственных» сословий. Опровергая первый из этих тезисов, Г. Фриз говорит о

¹⁴¹ Freeze G. The Estate (Soslovie) Paradigm and Russian Social History // *The American Historical Review*. 1986. Vol. 91, № 1. P. 11–36; Фриз Г. Сословная парадигма и социальная история России // *Американская русистика: Вехи историографии последних лет. Императорский период: антол.* / сост. М. Дэвид-Фокс. Самара, 2000. С. 121–162.

том, что исходное юридическое деление в дореформенной России производилось не по сословиям, а по другим социальным и юридическим признакам: население делилось на тех, кто облагался подушной податью, и тех, кто ею не облагался. Это влекло за собой кардинальные различия в статусе привилегированных и непривилегированных групп населения. Автор также обращает внимания на фундаментальную преемственность социальной структуры Московской Руси и императорской России, поскольку податное деление в своей основе являлось усовершенствованной версией более раннего разделения населения Московского царства на «служилые» и «податные» сословия. Хотя статус отдельных групп, например, церковнослужителей или однодворцев, и менялся, в целом общественная структура в XVIII в. (как и социальный лексикон) оставалась ближе к системе XVII в., чем XIX в.¹⁴²

Другая фундаментальная проблема четырехсословной парадигмы, по мнению Г. Фриза, состоит в том, что ни в XVIII, ни в XIX вв. «сословия» в восприятии общества не были простой иерархией четырех социальных групп, даже на уровне чисто юридических терминов. Напротив, они представляли собой неимоверно сложные скопления социальных категорий с многочисленными и отчетливыми внутренними подразделениями. В Своде законов Российской империи прослеживается отсылка к этой многосложности социальной структуры, например, при использовании выражений «городские обыватели» или «сельские обыватели», которые и в юридическом и в общественном смысле представляли собой совокупность многообразных, четко выделяемых сословий со своим особым правовым статусом (так, «сельские обыватели» включали государственных, удельных, крепостных, экономических крестьян и ряд других, меньших по численности наследственных групп – однодворцев, приписных, посессионных, ясачных крестьян). Поэтому Г. Фриз убежден, что (по крайней мере, в некоторых случаях) «сословие» – понятие, которым обозначались наследственные социальные группы, – предстает как подразделение внутри определенного «состояния», т. е. группы, положение которой в обществе определялось исключительно ее правовым статусом. Таким образом, даже на уровне юридической терминологии государство не учреждало системы четырех сословий – скорее оно учредило четыре юридических состояния, включавших в себя множество различных сословий. Более того, эти группы отличались друг от друга не только статусом, но и принципами определения своей принадлежности к группе и социальным обликом. Некоторые группы, обозначенные и в законе, и в расхожем употреблении как сословия, не были даже наследственными: принадлежность к ним достигалась путем личного выбора, индивидуальных заслуг или официально признанных экономических успехов (например, купцы). Государство же, по мнению Г. Фриза, не только мирилось с разнородностью элементов внутри установленных им широких социальных категорий, но также само порождало и юридически оформляло новые наследственные группы внутри данной системы. Такая социальная динамика, терпимая и поощряемая государством, привела к аморфности, гибкости и усложненности сословной системы. При этом автор подчеркивает, что российская сословная система оказалась вполне адаптивной к потребностям экономического и социального развития; многовариантная структура допускала специализацию и профессионализацию деятельности внутри формальной системы наследственных сословий.

Относительно постулата о том, что со времени Великих реформ сословия постепенно трансформировались в классы, Г. Фриз замечает, что сословия оказались чрезвычайно устойчивыми и просуществовали до самого конца царского режима. Несомненно, они не остались совсем не восприимчивыми к социальным и экономическим переменам, но как на уровне закона, так и в массовом сознании сословная структура оказалась поразительно живучей, обеспечивая основные методы коллективной идентификации и создавая основу социальной стратификации в последний период существования императорской России.

¹⁴² Фриз Г. Сословная парадигма и социальная история России. С. 138–139.

Оценивая положение в России после революции 1905 г., Г. Фриз делает вывод о типологическом сходстве с Францией XVIII в.: в России развилась разнородная социальная структура, включавшая несколько различных иерархических пирамид, соперничавших между собой и основанных не только на юридическом статусе, но и на ряде других характеристик. Социальная идентификация оставалась неоднозначной и нестабильной, колеблясь между категориями сословной принадлежности, экономического статуса и рода занятий. Хотя сословная система и была во многом подорвана событиями и преобразованиями 1905–1907 гг., она в значительной степени сохранялась как на уровне законодательства, так и в массовом сознании, даже если «сословия» были теперь переосмыслены как «культурно-бытовые группы» – общественные группы, выделяемые по их особой субкультуре и образу жизни. Таким образом сложилась смешанная сословно-классовая система, при которой, по мнению Г. Фриза, если не сами сословия, то принцип сословности сохранялся и во многих аспектах политики советской власти. В данном контексте «обостренное внимание к “социальному происхождению” на заре советской власти, особенно лишение права голоса целых категорий населения на основании их происхождения (феномен “лишенцев”), было чем-то вроде перевернутой сословной политики»¹⁴³.

В отношении сословной системы и перехода сословного общества в классовое интересна точка зрения Альфреда Рибера, по мнению которого в России не сложилось необходимого основания для формирования классов, поскольку не было «подлинных сословий». Даже сломанные в начале XX в. сословные границы не оказались заменены четкими классовыми разграничениями. Исследователь отмечает, что на протяжении имперского периода сохранялась фрагментация общества и изолированность социальных групп¹⁴⁴.

Вопросы, поставленные в работах Г. Фриза и А. Рибера, позже нашли отклик в статье Михаэля Конфино в рамках дискуссии о сословной парадигме в журнале «Cahiers du Monde russe»¹⁴⁵. Согласно традиционным интерпретациям западной историографии, отмечает М. Конфино, сословия в России сложились в XVIII в., в отличие от Европы, где они появились гораздо раньше. Еще одно распространенное мнение состоит в том, что сословиям в России не хватало корпоративной жизнеспособности, присущей европейским сословиям, российские сословия развивались не как «подлинные сословия» или же таковое их развитие было прервано. По мнению многих исследователей, в пореформенный период происходила трансформация сословий в классы, т. е. классы появились из сословий, а сословное общество превратилось в классовое (автор ссылается, например, на точку зрения Л. Хэмсона¹⁴⁶). Оценивая же иной взгляд А. Рибера, М. Конфино утверждает, что такая концепция достаточно последовательна и обладает внутренней логикой. Но, согласно ей, получается, что русское общество как в эпоху сословий, так и в эпоху классов являлось обществом своеобразным – *sui generis*. Если же оно было таковым, то каким образом исследователи должны анализировать характер и структуру этого общества? Необходимо ли для этого изобрести новую классификацию и терминологию?

М. Конфино признает, что сословия являлись важной частью жизни российского общества, так же, как и западного. Какова же была роль сословий в социальной стратификации? Чтобы это понять, он анализирует «ограниченность» сословий в российской и западноевропейской истории. В российских условиях сословия имели три главных ограничения. Во-первых, большие группы населения оказывались вне сословной системы (например, разночинцы). Второе ограничение состоит в том, что в некоторых случаях понятие «сословие» относится или применяется к таким социальным группам, которые и без сословной системы всегда имели

¹⁴³ Там же. С. 159–162.

¹⁴⁴ Rieber A. J. Merchants and Entrepreneurs in Imperial Russia. P. 416, 426.

¹⁴⁵ Confino M. Soslovie (estate) Paradigm: Reflections on some open questions // Cahiers du Monde russe. 2008. Vol. 49, № 4 (oct. – dec.). P. 681–699.

¹⁴⁶ Haimson L. H. The Politics of Rural Russia, 1905–1914. L., 1979.

довольно четкую социальную конфигурацию, и объявление их сословиями равным счетом ничего не добавило к их внутренней структуре или функциям (к ним относятся духовенство, крестьянство). Кроме того, в конце XIX – начале XX в. термин «сословие» широко использовался для обозначения различных групп, которые вовсе не являлись сословиями в традиционном понимании. Третье ограничение сословной системы и концепта «сословие» заключается в том, что сословие всегда включало в себя разные, иногда конфликтующие, социальные группы (прежде всего, имеется в виду разнородность дворянского сословия в России). Таким образом, сословная парадигма не отражает в полной мере всего многообразия российского общества. Сословная система лишь частично накладывалась на реальное общество, которое, на самом деле, характеризовалось достаточно рыхлыми социальными границами. Возможно, предположил М. Конфино, сословия в России – это не что иное, как социальные группы (категории). Подобные рассуждения касаются и понятия «класс», которое также не всегда обладает особой (экономической) смысловой нагрузкой, а используется в том числе в качестве эквивалента «социальной группы»¹⁴⁷.

Дискуссию о социальных классификациях и категориях продолжила Элис Виртшафтер. Она замечает, что М. Конфино напомнил историкам о том, как сложно найти адекватную терминологию для описания социального устройства России имперского периода. М. Конфино, как и многие другие историки-русисты, мыслит в рамках концептуального аппарата европейской истории. Работая с понятиями «сословие» (*estate, état*) и «класс», он прослеживает развитие русского общества в течение длительного времени, начиная с «чинов» Московского государства, через петровские служилые сословия (*service estates*) к позднеимперским классам. Это ожидаемо, учитывая, что устоявшееся в историографии мнение во многом является результатом представлений российских элит и, следовательно, более поздних поколений историков об этих категориях. Но в то же время, отмечает Э. Виртшафтер, М. Конфино дает понять, что категории и понятия, взятые из европейской истории, никогда не будут полностью адекватными в применении к российской действительности. На самом деле, «европейские» категории неоднозначны даже для разных государств Европы. Однако если историки стремятся вести полноценный диалог о России, России в Европе, Европе в целом или ее отдельных странах, они вынуждены принять терминологию, которая пусть и не предельно точна, но более или менее понятна с различных исторических ракурсов¹⁴⁸.

Рассуждая о социальных категориях и социальной истории, Э. Виртшафтер отмечает, что в период своего расцвета в 1960–1980-е гг. социальная история существенно расширила знание, доступное ученым. Помимо прочего, специалисты по социальной истории стремились написать «историю снизу», историю трудящегося народа в противовес истории политических и интеллектуальных элит. Основанная на географии, демографии и экономике «история снизу» также включала историю ментальности или социального сознания. Работа в русских архивах показала историкам, что попытка изучить социальное самосознание трудящихся – людей, которые редко выражали себя посредством письма, – породила разнообразную информацию об их отношениях с административными институтами, но дала скудное представление об их мыслях и чувствах. Дальнейшие исследования в рамках «истории понятий» показали, что значения и определения, казалось бы, схожих социальных категорий могут быть непостоянны даже в одном контексте, так как описываемые ими отношения изменяемы и неопределенны. Исходя из этих «открытий», историки заключили, что, пытаясь исследовать социальное самосознание, они лишь проанализировали официальную концепцию, а не реальный жизненный опыт общества. Поняв, что правительственные и другие элитарные источники не отражают всей

¹⁴⁷ Haimson L. H. The Politics of Rural Russia... P. 679, 687–693.

¹⁴⁸ Wirtschafter E. K. Social Categories in Russian Imperial History // Cahiers du Monde russe. 2009. Vol. 50, № 1 (jan. – mars). P. 231–232.

полноты социальной жизни, историки задались вопросом, какие уроки можно извлечь из изучения законодательно определенных социальных категорий, так как законодательно установленные категории представляли собой только один тип социальной классификации имперской России. Также развивались социоэкономические и социокультурные категории, и их необходимо всегда иметь в виду, что позволит увидеть полный диапазон интеллектуальных концепций общества, обнаруживаемый в историографии и документальном наследии¹⁴⁹.

Юридические категории (*legal categories*) русского общества определяли формальные институциональные параметры индивидуальных и коллективных жизненных шансов, включая социоэкономические отношения, санкционированные или предписанные законом. Такие жизненные шансы принимали форму гражданских прав, служебных обязанностей и возможностей, доступа к образованию, права владения имуществом и наследования, прав на торговлю и производство. Юридические категории являлись продуктом государственного и имперского строительства. Социоэкономические категории возникали из неформальных жизненных шансов (например, необходимость зарабатывать на жизнь в специфических исторических условиях) и зависели напрямую от условий окружающей среды, материальных ресурсов, экономических структур и организации семей и сообществ. Наконец, социокультурные категории возникали в ответ на социальные и духовные потребности людей. Эти категории развивались как вне, так и в рамках государственных образовательных и художественных учреждений. Сферы жизни, которые генерировали социокультурные категории, включали религию, распространение грамотности и образования, развитие коммерческой прессы, популярную культуру, эволюцию обычного права внутри отдельных сообществ и по отношению к статутному праву и государственному управлению, формирование публичной или полупубличной сферы, представленной самодостаточными литературными, художественными и научными элитами и культурными, профессиональными, религиозными и секретными обществами.

¹⁴⁹ *Wirtschaftler E. K. Social Categories in Russian Imperial History. P. 233.*

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.